

Евгений Б.  
БЕЛОДУБРОВСКИЙ

автор книги  
«Сага о пальто»



# МЫ ЖИЛИ НА ЖЕЛЯБКЕ

Опыты задушевной  
ленинградской прозы





*Фото Скотта Гельбаха. Тель-Авив, 2021 год*

Евгений Б.  
БЕЛОДУБРОВСКИЙ

# МЫ ЖИЛИ НА ЖЕЛЯБКЕ

Опыты задушевной  
ленинградской прозы



РЕНОМЕ

Санкт-Петербург

2023

УДК 82-94  
ББК 84(2Рос)-44  
Б43

Рисунок на обложке  
*Виктория Ребрый*

**Белодубровский, Е.**

Б43 Мы жили на Желябке. Опыты ленинградской задушевной прозы / Евгений Б. Белодубровский. — Санкт-Петербург : Реноме, 2023. — 168 с. : ил.

ISBN 978-5-00125-785-1

Автор книги, родившийся в 1941 году в Ленинграде (в проходном дворе от улицы Желябова — сквозь Невский — до набережной пушкинской Мойки и Зимней канавки), не покидавший его надолго (разве что кроме солдатской лямки), предлагает читателю как опыты ленинградской прозы сборник лоскутных мозаичных рассказов о своей интересной и весьма занимательной жизни. Окрестности этих мест, фасады, улицы, дворцы, сады, памятники, каналы — то есть то, чем отличен Заячий остров от всех островов на планете Земля, сформировали его как личность и толкнули в профессию писателя-краеведа и библиографа. А их «задушевность» (слово, вынесенное нами на титул, по Анциферову) — это в первую очередь его родители, близкая родня, друзья, ученые-коллеги и Поэты: от Пушкина до Блока и Мандельштама, от Шолом-Алейхема и братьев Нобель до Владимира Набокова, плавающие и путешествующие вместе с ним там, где его застала творческая судьба, — как в Старом, так и в Новом Свете.

УДК 82-94  
ББК 84(2Рос)-44

Ограничение по возрасту 12+

ISBN 978-5-00125-785-1

© Евгений Б. Белодубровский, 2023  
© В. Ребрый, иллюстрация, 2023  
© ООО «Реноме», 2023

Человека окружают маленькие надписи,  
разбредшийся муравейник маленьких  
надписей: на вилках, ложках, тарелках,  
оправе пенсне, пуговицах, карандашах.  
Никто не замечает их. Они ведут борьбу  
за существование. Переходят из вида  
в вид до громадных вывесочных букв!

*Юрий Олеша. Зависть.*  
М.; Л.: Изд-во «Земля и фабрика», 1928. С. 10



*О ты! О ленинградский воробей!  
Тебе даю я вышнюю отметку.  
Ведь сколь из пушек по тебе ни бей,  
Ни разу не был ты посажен в клетку.  
Пусть доброхоты кормят голубей  
И канарейкам – корм за щебетанье,  
А неказистый юркий воробей –  
Он сам везде добудет пропитанье.  
Он не летает в дальние края,  
Не унывать привык и в зной, и в стужу.  
Стихия городского воробья –  
Кусты дворов и на Желябке лужи.  
Весь птичий мир мил сердцу моему,  
Но коль слагать из них кому-то оду,  
Я без сомненья сторону приму  
Лихого воробьиного народа.*

Владимир Свиньин,  
физик, новосибирский ленинградец  
с Кадетского переулка В. О.





## МЫ ЖИЛИ НА ЖЕЛЯБКЕ

*Нашему управдому  
Виктору Карловичу Вайхту*

**М**ы жили на Желябке, угол Невского, напротив Аптеки. В наш дом попала бомба и убила дворничиху Поленову, мамину сменщицу. Кусок этой бомбы (снаряда) застрял в стене нашего подвала под черной лестницей. Сначала мы, дети, его боялись, а потом — привыкли.

В том подвале все мы, жильцы с нашей черной лестницы, держали дрова, берегли каждое поленце, аккуратно укладывали один в один, крест-накрест для просушки в такие, в полметра высотой, типа этажерки так называемые «костры».

И по надобности спускались туда, в жуть, прямо вниз под лестницу, в глубь кромешную, на вечно сырой простуженный земляной пол за дровами со свечкой, фонариком или с керосиновой лампой, ибо там всегда было темно страшно в любое время года. Найдите человека моего возраста, отрока, мне подобного, кто бы в те годы не боялся подвалов и чердаков!

...Даже когда инженер Покорский (это тот Покорский, инженер-телевизионщик, одинокий из 19-й квартиры (наша 17-я ниже этажом), который, когда мы с братом Толькой подросли, брал нас с собою каждую субботу в мужскую баню на Гороховой и хлестал нещадно в парилке вениками, которые мы с гордостью несли через весь проходной двор на Мойку) провел туда свет (чтобы он горел, надо было тащиться к ним в коммуналку и просить кто был на кухне — включить, и так далее, тоже примета...). Но даже и с лампочкой под сырым потолком от этого света светлее на душе не становилось, да еще тени от стен и от нас не веселили, хотелось скорей наружу...

И торчал он там, снаряд этот, таким корявым зубчатым сталистым гребешком и выхолощенным истертым конусом, скобой в стене под лестницей как восклицательный знак — всё мое детство и юность. Вот кому как, а мне он был в самый раз, потому что служил подмогой на все сто, когда я, вылезая обратно из темноты на свет с вязанкой дров — или на закорках или на локте под самым подбородком (сколько унесешь), а тут ухватишься за эту корявую скобу свободной рукой, как за сучок, передохнешь и пошел дальше, без потерь...

Да-да, не смейтесь, за бомбу — как за соломинку, легко сказать, не то вот-вот упадешь с ценной поклажей, опять двадцать пять, расстроишься, чуть не заплачешь, да еще нос расквасишь, а кому хочется



*Большая Конюшенная улица  
(в советское время ул. Желябова)  
Фото 1900-х годов*

показать свою слабость — да никому... А тут в помощь — немецкий снаряд.

Вот они, те самые «странные сближенья», так подчас мучившие Пушкина! Особенно когда солнышко заглядывало и туда, под лестницу, вражий кусок цилиндрической стали блестел, пускал зайчики куда попало. Мама, уходя на работу, кричала мне, свесившемуся из окна нашей кухни, на прощание: «Женька, Пушкин, смотри — весна пришла...»

\* \* \*

«Пушкин!!! Пушкин!!! Вернись сейчас же домой, надень пальто, вспотеешь, простудишься и умрешь, — кричит моя Мама на весь двор, высунувшись из форточки кухонного окна нашей коммуналки на Желябке. — Где мой сын? Я его не вижу! Люди, Сява, Сява, что ты околачиваешься без толку, просто так, брось книгу и лучше найди Пушкина и скажи, что его Мама зовет его домой, голос потеряла совсем...» Сява, долгоязыкий, губастый как африканец Сявка Абрамов, усыновленный сын своей бездетной тетки Брони, сидит на ящике, вижу его — как сейчас вас, закутанным по шею, с книжкой, вот он что-то бубнит, слышит мою Маму, но с места не двигается и просто, задрав голову к небесам абы куда, заревел во всё горло, сложив губы свои в трубочку иерихонскую, на весь проходной двор: «Пушкин... Пушкин! Тебя Мама зовет...» — и так раза три... «Зачем?» — кричу, наконец, я в ответ на Сявкин рев с крыши старого гаража или конюшни, где мы с Фиркой Лю и Ромкой Рэ строим хижину Дяди Тома. «Кууушшшаать, — был ответ, — кууушшшаать».

Про Эсфирь Лютину будет отдельный рассказ, хоть можно даже оду, а вот про «Хижину...» — только здесь и сразу.

Всё очень просто. На мои девять лет моя Мама подарила мне «Хижину Дяди Тома» — книгу из серии

«Библиотека школьника». С картинками, которые много больше бередили и тревожили мою детскую душу и фантазию, нежели «сам текст». Мог ли я знать тогда, что с автором этих совершенно наглядно переносивших меня к жизни и быту гордых американских негров, попавших в рабство, и их злобных толстых белых хозяев был художник Борис Федорович Семенов. Дядя Боря — друг Даниила Хармса, Филонова, Алейникова, автор «Чижа и Ежа»: и всё-то «из первых уст». Скажу (не без гордости), что я со своей настырностью, любопытством и жадностью к той поре подвинул дядю Борю к написанию и публикации воспоминаний, зарок чем послужили дружеские (всё больше в кассовые дни) прогулки по Невскому из редакции журнала «Нева» (дом 3; с перекуром в Казанском садике), где дядя Боря служил главным художником. Остается добавить, что «Хижина...» с этими дяди Бориными иллюстрациями (библиография — наука не менее нужная и ответственная, нежели, скажем, математика или атомная физика) выдержала с 1949 по 1956 год более десяти переизданий стотысячными тиражами. Вот браво, вот — успех, вот — награда... А совсем недавно я, отвернувшись памятью к тому чердаку, достал эту дорожную мне «Хижину...» и вдруг обнаружил что автор Послесловия — Ефим Григорьевич Эткинд, Гуру, наставник целого поколения (если не двух) из числа моих сверстников на пути в науку, выдающийся

ученый, тогда уже находившийся в опале у властей всех мастей, профессор, вынужденный пробавляться рецензиями и предисловиями для детских книжек...

Всё так или почти так, но Пушкин и правда — это про меня! Мое, повторяю, прозвище, мой оберег в первоначальном радужном смысле этого слова, такой вот подпоясанный веревкой божок из мочала за окошком или самодельный сверчок с рожками в пальто из рогожки на антресолях нашей блокадной коммуналки на Желябке. И мне с ним жить-поживать, сколько бы еще лет не прошло, сколько бы еще юбилеев мы не отплясывали с родными и друзьями и сколько еще полът мне суждено сносить-переносить вместе со своими или чужими галстуками, рубашками, башмаками, беретами-жилетами-пиджаками (а выгорит «судьбиной» — аж фрак с фалдами), а перчаток сколько, варежек — пруд пруди. И стоит мне (ныне скорее в мыслях, чем наяву) ступить в мои пенаты, как мой оберег тукается мне в спину или в рукав и теплится и отзывается во мне (как говорила тетя Хая, мамина старшенькая сестра) «всеми фибрами души». А всего-то пустяк, пенаты мои (Заячий остров и К<sup>о</sup>) — всего ничего. Невский — четыре угла, Петропавловка, пара-тройка мостов, одна Канавка, река одна, да и то Мойка (зелено-ржавая, хладная и печальная в любое время года), окрест — два Собора: Исаакий да Казанский, две площади: Дворцовая и Конюшенная, одна Арка Главного

Штаба, одна средняя школа — потёршая, основанная чуть ли не при Петре-батюшке, один замок — Инженерный, одна Капелла, Зимний и Аничков дворцы, Кутузов со строгим Барклаем де Толли, да два (опять же) городских сада: Сашкин и Михайловский. Чем не Пушкин! Да вот он — рядом. Гляньте его биографию, деваться некуда (хотя бы лет с 13-ти — потом лицейских и потом, потом — аж до пресловутого камер-юнкерства). И там же, то там то сям, то тут то рядом, вблизи или поблизости этих 13 точек на карте моего Заячьего острова — вы везде отыщите и найдете и меня, кругло-щекастого, чернявого, вертлявого, куче-кучерявого в завитках-колечках славного мальчугана, похожего на арапчонка с губами негритоса в светлой (пусть это будет — лето) рубашке типа апаш с закатанными выше локтя рукавами из ДЛТ (такого турецкую апаш'а носили почти все мои сверстники, пацаны в нашем микро-районе, но никто из них даже черточки какой от Пушкина не имел). Видимо, я и вправду чем-то напоминал юного Пушкина, внешне сильно похожего на единственное прижизненное хрестоматийное изображение Пушкина-школяра в юности кисти то ли поэта-безумца Батюшкова, то ли любимого лицейстами скромного учителя рисования и черчения по фамилии Чириков (пушкинисты до сих ломают копыя, кто же был автором этой акварели). Истину же знали два человека, два первенца из «племени»



пушкинистов XX века: Н. П. Анциферов и Ю. Н. Тынянов; но святой Николай Павлович по характеру терзался в сомнении, а безупречный Юрий Николаевич, который знал и чуял о Пушкине всё, просто не успел — умер в Москве (там, где родился некогда в 1899-м его Пушкин; вот они, те самые «странные сближенья», вот *genius loci*) в 43-м военном году...

### *Две мамы, я и маца*

Фирка была в девятом, я в седьмом, пацан... Фиркину Маму и мою звали почти одинаково: моя — Лина, ее — Лиля, и обе — Марковны и одного роста, обе рыжие и у обеих мужья погибли в войну, так что я всегда считал (и сейчас считаю, хотя это и не так совсем), что они тезки. И даже ближе — как сестры: в праздники, на Новый год, на День Победы, в женский день, а то и просто в воскресенье они бережно, на виду у всего двора носили друг дружке свои угощенья на пробу, то форшмак, то рубленую селедку и обязательно что-нибудь выпечное — самое большое лакомство, короче — делились... А однажды Лилия Марковна через Фирку доверила мне отнести Маме что-то особое в коробке из-под ботинок и просила не открывать и передать Маме прямо в руки. Я, конечно, пообещал не трогать, но сделал наоборот. И только зашел на нашу лестницу, размотал нитку и открыл — в коробке лежала маца...

\* \* \*

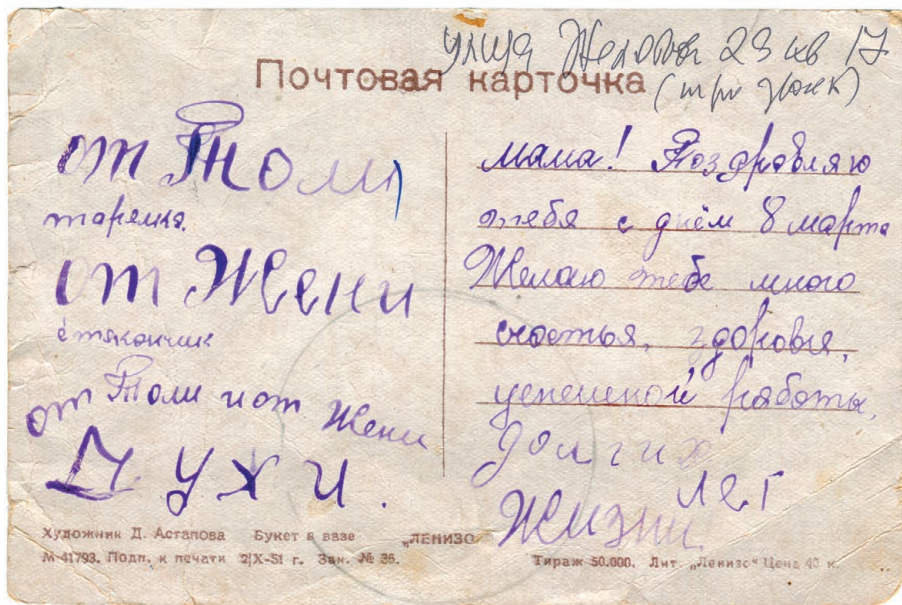
Дворовый мальчик, я с самого детства мечтал быть писателем или ученым. Ибо родился и вырос в самом центре, в Нобелевском Доме, на самых углах Большой Конюшенной, Невского и Мойки, вблизи «Демутова трактира», Конюшенной площади, Шведского переуллка, Эрмитажа и того самого дома, где в снятой наспех квартире, окнами на грязный каретный двор и на сарай, весь в долгах и малых детях на чужом протертом топчане, среди любимых книг умер великий Пушкин и где (бывают, бывают, еще как «бывают странные сближенья»!) в верхних этажах жили-были по коммуналкам мои закадычные друзья и одноклассники...

Там же, на тех же углах, берегах и каналах жили сверстники, поклонники, друзья и недруги Ахматовой и Зощенко, Тынянова, герои Гоголя, Герцена, Достоевского, Константина Вагинова и бессмертного Осипа Мандельштама (все вкупе мои будущие герои, мои арлекины)... А ранее хаживали туда-сюда, от Марсова Поля к Фонтанке-реке и на Аничков (ударение на «и», чтоб не путали) мост (и тем же макаром обратно) — бритые невские щеголи пушкинского, не слишком далекого времени в штрипках, зеваки витрин и гостинодворских лавок и — напрямиком в кондитерскую «Вольфа и Беранже»...



*Открытка  
на 8 Марта.*

*Мы с братом  
покупали такие  
открытки в киоске  
на первом этаже ДЛТ (Дом Ленинградской Торговли, ул. Желябова, 25),  
где нас уже знали. Киоскера звали Степан Иванович. На открытку мы  
копили деньги. Степан Иванович подбирал нам картинку с букетом  
и всегда спрашивал: сколько лет Маме, какие у нее волосы и так далее;  
я тогда сказал, опередив брата, что наша Мама самая красивая  
и что она носит береты; а тогда ей подойдет этот букет.*



Недавно для этой книги я нашел в интернете полустертую на открытке фамилию автора букета – Д. Астапова (см. внизу картинки). И оказалось, что её имя – Дебора Михайловна Астапова и что она известный автор целой серии почтовых открыток с ею изобретенными (составленными) букетами, цветы же живые тогда были очень дороги, хоть сейчас заказывай. Умерла в 1991-м, вот ведь мог бы найти и поблагодарить.

Однажды наш Степан Иванович вылез зачем-то из боковушки своего киоска, и мы увидели, что он без ноги, то есть вместо ботинка – протез... Я чуть не заплакал, хотя не был большим «плаксои-ваксои». Степан Иванович заметил «это дело», потрепал меня по щеке и весело так сказал: «Ничего, Пушкин, сделаю новый и еще тебя обгоню»...

## СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА «БАНКОВСКИЙ МОСТ»

*Себе*

Любовь — кольцо,  
а у кольца нет — конца.

*Зинаида Гиппиус*

**А** ведь и правда, NN, она была творение бога Любви. Ее звали Зинка, малюсенькая, из нашего двора, с грудками-башенками, на которые я имел разрешение — смотреть, но не трогать, а она «трогала» меня почти всего — тоже глазами, но были и исключения. Причем — осенью и зимой эти прикосновения были слаще обоим; летом же мы почему-то всегда оказывались врозь. Тогда девочки и мальчики нашего микрорайона (это почти весь Заячий остров от Петропавловки до Фонтанки) осенью и зимой носили толстые пальто с воротом к самому горлу из ДЛТ, горячими пальцами я боролся с его пуговицами, она — смеялась, и всегда первую петличку мы преодолевали вместе. И я смотрел — видны были только края башенок и штучки. Я был счастлив. Гормоны

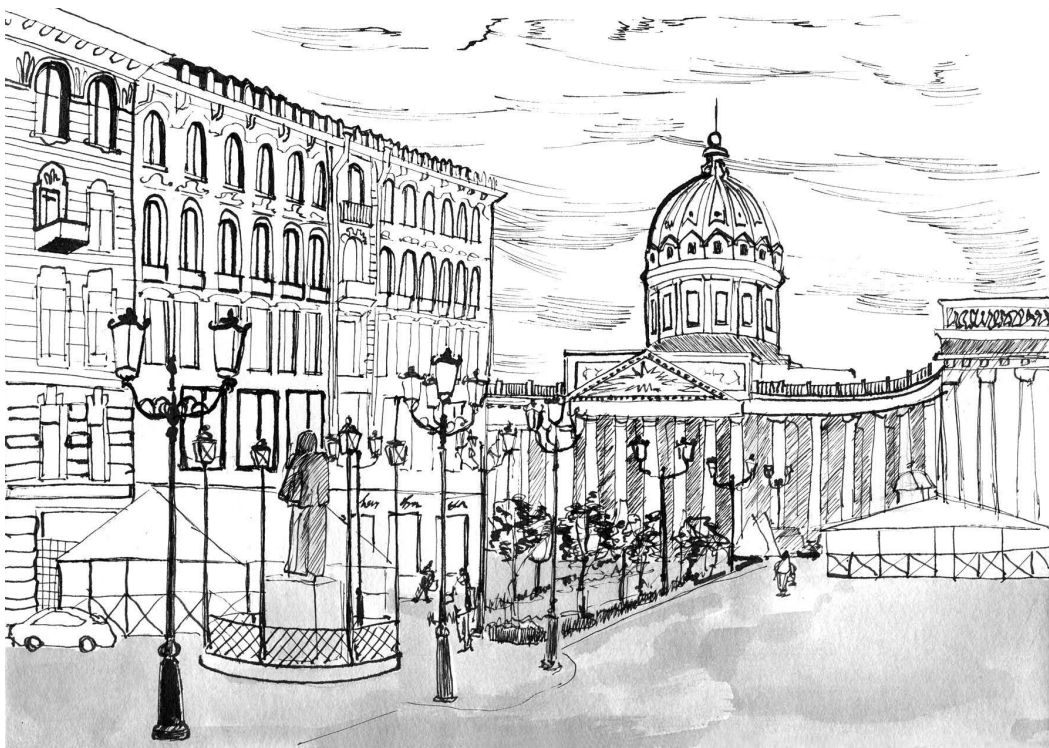
мои (боюсь, что тогда я слова этого не знал), откуда ни возьмись, тыкались в меня и тут же стыдливо убирались (прятались) восвояси... И она, Зинка, словно замечая эти маневры и тычки, теплой ладонью своей без спросу попадала в карман моего пальто и как бы греясь (скорее всего — так и было) сквозь подкладку путалась с моей карманной мальчишеской дребеденью и хлебным крошечком. Место было всегда одно и то же — кольцо 34-го трамвая (тридцатьчетверки) на самых задворках Казанского собора. Дальше и дальше от посторонних чужих глаз (или от «сглаза»). Вот иди: переходишь Невский на нечетную сторону от угла магазина «Военная книга», что на Желябке, и сразу же почти носом к носу уткнешься в двери приземистой булочной, которая «пережила» с нами блокаду. Моя бы воля, я бы в каждый День Победы ставил здесь часового с ружьем; сколько жизней она спасала от голода, а сколько не смогли дойти-доползти и умирали прямо на том, нашем с Зинкой, переходе через Невский. Если бы я был поэтом, как Ахматова, то написал бы про эти места Оду. И начал бы ее непременно с рассказа моей Мамы о том, как она, приближаясь всё ближе и ближе к заветным дверям, почти физически ощущала живительный запах хлеба — почти наравне с запахом кожи, мастики, гуталина и гвоздей, витавший от находившихся здесь в двух шагах в сторону Адмиралтейства в шесть окон первого этажа сапожной пошивочной мастерской

и артели по ремонту и чистке обуви, примусов, керосинок, изготовлению ключей и чистке посуды (это из более поздних моих и маминых воспоминаний). Здесь жители всех ближних улиц, переулков, набережных и дворов от Адмиралтейства до Аничкова дворца от мала до велика «шились», «чинились» и «ремонтывались». Эту мастерскую ранее всех нас воспел Гоголь (а тут уже из моей профессии библиографа-краеведа), поселившийся в начале лета 1829-го на Казанской, прямо за углом, исповедуясь в письме своей матушке из Петербурга в Диканьку: «...Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе 2-х портных, одну маршанд де мод, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, декатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную повивальную бабку...»

Правда, когда я уходил в армию в 59-м, она еще была булочной. Но потом годы спустя она куда-то съехала, сгинула. И от нее остались только крохи и крохи: те же исхудалые тощие двойные двери, ржавый номерной замок, наспех склеенное кем-то газетной бумагой разбитое стекло, решетка из прутьев, вековой мусор и дорожное крошево...

Так вот: мы с Зиной стоим как вкопанные на этом трамвайном кольце. Счастливые. Приходит трамвай. Усталый (почему-то его называли «американским»).





*Рисунок В. Афанасьевой*



Все пассажиры сходили на последней остановке. Вот и водитель в фуражке с околышем. Кондукторши. Их было три. По одной на каждый вагон. С сумками на замках и обвитыми вокруг шеи кольцами билетов разной стоимости и свистками — наперевес. Они идут на перекус в свою будку (она и сейчас там есть прямо на набережной у спуска, в трех шагах в сторону Банковского моста со Львами, которых мы с Зинкой боялись; я — больше, она — меньше...), ставшие нам обоим родными и близкими до скончания века... Последняя остановка была крытой...

Будет время — схожу туда, постою...

Нет, вспомнил!!! Бывало, по дороге на нашу остановку мы с Зинкой, полные близкого счастья, наперегонки забегали в ту булочную, святое место, покупали за семь копеек французскую сайку с петушиным гребешком и объедались и гребешком, и мякишем невероятной белизны (помните у Осипа Мандельштама: «белее белого...»), вдруг забыв про всё на свете, распахнув пальто и шарфы, принимались вприпрыжку носиться между колонн Казанского, играя в пятнашки, совсем начисто пропустив нашу остановку и то, зачем шли: наш любимый трамвай длинной змеей, выгнув шею, свистнул нам на прощанье (такой «привет Шишкину») и тяжело, сиротливо двинулся, почти пустой, в обратный путь аж в Стрельну, на другой конец города, но мы были счастливы...

А ведь и правда — «всё Кузнецкий Мост»!!! Прав Грибоедов — всё-то это от книжек, от них одна беда. И сам-то он, неутомимый просветитель и расстрига, сам-то умница, гений, композитор, музыкант, изгнанный из столиц от скверны литературы куда подале. «Грибоед» так и остался узнаваемым только по корявому большому пальцу левой руки с подвечным кольцом от Нины Ч.

Однако, если причиной отказа Софьи, этой плутовки, слепо полюбившему ее вольнолюбивому начитанному Петру Чаадаеву в том числе и Кузнецкий Мост (выразиться бы проще — да не умею), то для меня и для нашей чертовски теплой взаимной любви тычками и хлебным крошечком в кармане с прекрасной Зинкой (из нашего проходного двора, выходящего на угол Мойки и Невского) девизом был и будет Банковский мост, этот чудо-забавный висячий мост нашего детства и юности через канал Грибоедова (имя доброе, но здесь, как ни крути, сбоку припеку), который, на наше счастье, еще те, Те Думские власти, заседавшие в Каланче на Думской, так и не решились зарыть... Вот он, мост, с четверкой гривастых нечесанных крылатых (острые крылья с полнеба моего Заячьего острова) львят, зубами держащих на чугунных цепях (толщиной, поди, будет в два больших человеческих пальца) не только самый мост с идущими по нему жителями этих мест, пешеходами, гостями, но и по мне (призываю и тебя, читатель,

присоединиться) — держат (повторюсь) весь наш Петербург, дабы не быть ему, Петербургу-городку, ни в жисть, ни в смерть, ни в поругание — пусту...

А тут мы с Зинкой Ш. на страже.

Зову и вас, на загляденье, постоять со мной, коллега...

Да! Это старый рассказ, он написан «сто лет в обед», но тогда он был без сапожной мастерской и артелей и без Гоголя. Теперь он у меня весь сложился для этой книги...

## ДЖЕЙН

*Пенелопе Джейн Грейссон*

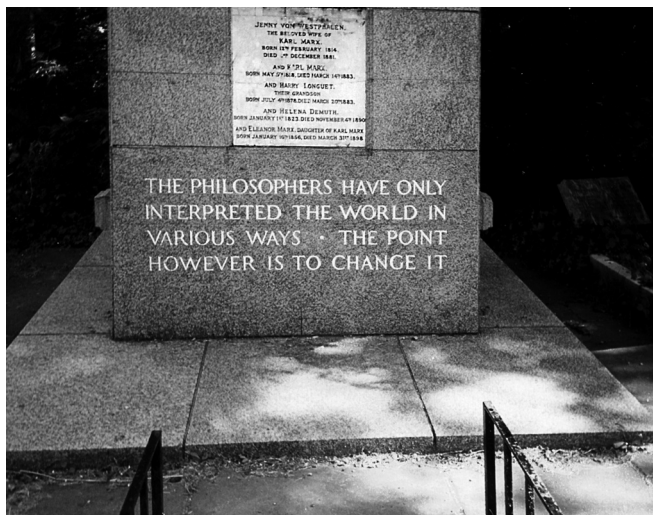
**В** каком-то году, тут цифра не имеет значения, я го-  
стил более трех недель в Лондоне у своей коллеги  
по набоковскому цеху доктора русской литературы  
и языка Джейн Грейссон (Jane Graysson). Я был много  
занят, торчал до изнеможения в отделе манускриптов  
(в поисках Набокова — отца, сына) в Библиотеке  
Британского музея, а Джейн до ночи работала на  
своей кафедре, а в субботу на футбольном поле она —  
вратарь университетской команды. И более-менее  
свободны для нас обоих были дни воскресные.

И вот в одно такое воскресенье Джейн предложила  
мне посетить некоторые места Лондона на ее выбор.  
Я — мигом согласился. Первым делом мы пришли  
к дому, где жил Герцен и где он написал первые главы  
романа «Былое и думы», одной из самых моих люби-  
мых книг со школьной скамьи, и где он, Герцен, в из-  
гнании, на пару с Огаревым издавал «Колокол», и куда  
к нему приезжали Тургенев, Достоевский, Гарибаль-  
ди, Чернышевский... Так себе, жилой дом, и только на  
фасаде табличка — такое блюдечко — отметина и всё...

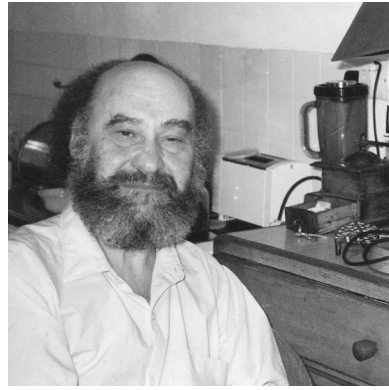


*Хайгейтское  
кладбище*

*Могила  
Карла Маркса*



Вторым адресом было Хайгейтское кладбище — могила Карла Маркса. «Вы родились при социализме, — сказала Джейн, — надо отдать ему дань...» Логично, но не по адресу... Здесь меня поразил стоящий у могилы «карлы-марлы» в скорбной позе мусульманин в характерном белоснежном одеянии с длинными рукавами до пят, одна рука прижата к груди, в другой — утконосые ботинки с блестками, а сам — босой, и великое множество свежих цветов. Последним адресом моя Джейн выбрала Музей Зигмунда Фрейда. Вот это классно, здесь всё, всё, всё — до капельки мне было внове: и вещи быта, книги и фотографии, коллекции африканских божков и масок, всякая музейная утварь, венская мебель, письма, и почти на каждом шагу предметы иудаизма. Но усталость за день брала свое, и когда мы пришли в одну из комнат квартиры Фрейда, оборудованную под кинозал, где демонстрировали кадры с живым Фрейдом, я ничтоже сумняшеся присел на стоящий у стенки маленький серый просиженный диванчик, сильно напомнивший мне топчан для отдыха в караульном помещении в бытность мою солдатом. То есть — для служебного пользования, ни дать ни взять: сижу, отдыхаю, смотрю кадры, моя Джейн вышла из комнаты. И тут по окончании сеанса неожиданно ко мне на топчан тихо так присела дама — сотрудница музея, в пелерине, заколотой брошью — разлапым жуком, тепло взглянула и негромко с улыбкой произнесла:



*Автор в Лондоне в гостях у Доктора Высшей Школы русского языка и литературы (моего коллеги «по Набокову») – госпожи Джейн Грейссон и ее рыжего кота, где я провел 20 счастливейших дней. Апрель-май 2000 года*

«On this sofa professor Freid died...» И погладила мне руку. Я тут же вскочил как ошпаренный (ужас, ужас, ужас), но не получилось, она мягко остановила меня и вновь улыбнулась. Тут я совсем смутился и вообще как бы совсем примерз к злополучному месту. Но на мое счастье (в данном сюжете – на выручку) в комнату вернулась Джейн, увидев эту картину, нисколько не удивилась и, перекинувшись парой слов с музейной дамой, сказала: «Всё нормально, вы ничего не нарушили – это самое любимое место отдыха профессора, а для них – он всегда жив, здоров и жизнедеятелен».

**КРЫЛАТАЯ ПОВЕСТЬ-РАССКАЗ  
С КОЛЁС О ДЕДУШКЕ СИМХЕ**  
из Дубровников бывш. Витебской губернии  
в ответ на письмо правнука знаменитого  
сыровара из Бобринцов бывш. Винницкой  
губернии и к тому же носящего усы

*Борису Хаимскому*

Мой дар убог...

*Евгений Баратынский*

**У** меня тоже был дед, пускай не такой, как ваш прадед, но тоже — чист и не промах. Его звали Симха Гиршевич. Правда, когда я трёхмесячным младенцем «застал» дедушку на проводах в Мелитополь (и уже более «никогда-никогда»), его назвали Семёном Григорьевичем (вот Лев Толстой помнил себя в этом же возрасте и прямо в том признался всему человечеству — так почему ему можно, а мне нельзя хотя бы теперь вам).

Итак, у дедушки Симхи на своем веку было много разных причуд, привычек, слабостей (как у каждого почти действительного человека), кроме одной,



покрывающей все остальные, как сказал бы Достоевский, «до нитки». Прожив почти половину жизни, дедушку Симху вдруг обуяла страсть стать настоящим фотографом, причем не просто так фотографом, а фотографом семейным, и потом, став мастером, на перекладных, где его заставляла жизнь, открывать фотографии, сначала как «передвижки» такие, на крылатом шарабане, а потом — и целые фотоателье. Вот привалило счастье (классически, по Шолом-Алейхему) так «привалило». Ничего себе! А корень — откуда? Корень, бытийный, живой, дающий плоды, откуда? Не с Луны же он свалился с «недугом» таким. То была «вспышка магния», озарение, столбняк в один миг, решивший его судьбу, или то, что называют *profession de foi*. Конечно, тут правильно бы было, вооружившись «крылатым» выражением философа Григория Ландау «если надо объяснять — то не надо объяснять» (в моей повести-рассказе будет много такого-сякого «крылатого», только держись да успевай закавычивать), примчаться и помчаться бы дальше чесать свою повесть-рассказ о моем дедушке Симхе, не останавливая «бег времени» (Гораций — Паустовский — Ахматова), и остаться неуязвимым для потомков, однако, в нашем случае можно легко скатиться к навязчивой идее или к простецкому желанию прославиться «на фу-фу» (это что только дуракам записным впору и некоторым дубовым философам). Не проходит тут и желание разбогатеть

на модном доходном дельце, деньги — да, не скажи, кому они не нужны, здесь главное другое: каким «макаром» они заработаны (мне помнится, эту же мысль о легких деньгах, нажитом богатстве и интеллигентности высказал как-то в моем присутствии Дмитрий Сергеевич Лихачев, что, мол, именно в этом вопросе надо искать ответ), и тогда выходит, по «лихачевской стезе», что дедушка Симха человек вполне даже неплох, представляю, как ему неловко слышать о себе такое «там», где он сейчас находится. Тогда остается единственное — и скорее всего так оно и есть — тут мне видится (как лотерея, как выигравший билет) — «залог счастья», данный ему свыше, как у Пушкина «с Онегиным моим». Классика! Тут только лови момент, и Симха его поймал, как солнечный зайчик, пускай и на вторую половину своей жизни (а третьей не дано никому). Поймал, но не как в шашках: пух-пух и в дамки, — до карьеры настоящего семейного фотографа было еще далеко. У бобруйчан (моя Мама оттуда родом) на подобный случай озарения есть свое крылатое: «Если уж падать с лошади — так с хорошей». Да-да, так бывает, а вот «удержаться в седле» дедушке Симхе стоило очень больших трудов и сердечных мук, дабы совершить такой кирдык в своей жизни (мне было лет пять, когда я в Цирке Чинизелли на Фонтанке увидел номер китайца Ван Ю Ли, который жонглировал огромными китайскими вазами и тарелками, и ни

одна тарелка и ни одна ваза не разбилась; я спросил тогда Маму — как это так, она ответила, что это «не просто, не просто» и дается человеку большим-большим трудом; я почти забыл эти слова, а вот сейчас пригодилось). И «виной» тому — в чистом виде до краев — Любовь (Шекспир, Сонет 117-й). То есть когда нашему юному Симхе (внуку цадика и сыну меховщика и швеи — портнихи подвенечных платьев для еврейских невест плюс жилетов для свадебщиков из Дубровников) посчастливилось влюбиться и сразу полюбить всерьез русую русскую девушку, дочь то ли полицмейстера, то ли еще какого-то главного из ближних к селу Симхи Дубровников. И получить (как наотмашь) взаимность с первого взгляда. Полную. С клятвой — на всю жизнь. Как они разъяснились, я не ведаю, но белорусский Дубровник — городок ничего себе был! Пять языков (белорусский, идиш, русский, польский, литовский), две синагоги, костел, хедер, реформатское училище, православная церковь, плотина, река, воскресная школа, аптека, большой рынок, открывающий свои ворота с товарами со всех ближних мест и местечек в каждый последний воскресный день месяца (а для молодежи и сватов — смотрины и свадьбы по маю), и откуда вела железнодорожная ветка — с тремя загогулинами прямо в Егупец, в гости к Соломону Шолом-Алейхему, большому писателю, на Крещатик; при сильном ветре с Запада можно было услышать стук колес

международного вагона, вызывающий тревогу стариков и зависть юнцов. Одним словом, сердце бабушки и девушки посетила, коснулась, полоснула сильная ответная настоящая любовь! Они открылись, пошли просить благословения. Сначала в церковь, потом в синагогу и потом — обратно, но нигде не нашли удовлетворения или даже союзника. Родители, как малые дети, они тут ни при чем, берите выше — если ни рабай, ни батюшка отец Паисий не вняли даже такому «неумолкаемому» (О. Мандельштам) факту, что у Симхи и у Марии были родимые пятна на одной той же левой руке, только у жениха прямо чуть повыше локтя, а у невесты чуть пониже, — разве не аргумент, что они наречены «свыше», с момента рождения. Покруче любых метрик... Рабай сослался, что в Торе на этот счет ничего нет, а отец Паисий и смотреть не стал на эти «пятна» — просто махнул рукой и пошел проверить, хороша ли вода в купели — это был день крестин, хотя Симха был уже готов креститься, а его невеста стать чуть ли не еврейкой, но какой-то миг был потерян и никто в таком большом городе не был рядом, что надо делать в первую очередь, во вторую... И тогда они решили бежать, как говорится, «на босу ногу» — по «железке». Их догнали, накрыли, застукнули; невеста чуть не в петлю, и ее увезли быстро (бекицер) силком куда подальше от греха, в деревню на Псковщине, отсюда не достать, а бабушка Симха сам ушел куда глаза глядят, чем сильно огорчил своих

родителей с их планом на вырост посадить сына за кассу в своей скобяной москательной лавке и женить на замарашке Зинке (Зеле), рыжей дочери богатого мельника Пейсаха Шиловицкого (и его жены Берты), живших поблизости, которую они, оказывается, берегли для Симхи чуть ли не до появления его на свет (на полгода раньше Зели-Зинки), и о чем они, «жених и невеста», до времени и знать не знали (не скажите — Зеля подросла и вдруг стала статна, красива, не как замарашка; она еще вернется на эти страницы, запомним ее). И след его простыл. Начисто и надолго.

А ведь всё-то ничего (правда — кому как?). Если бы той весной нашлись бы в округе свадебщики или сваты и с двух сторон бы их поженили (ну хотя бы нашлась какая-никакая гоголевская Фекла Ивановна или Белотелова из Островского, хоть проказницы обе и себе на уме, но удачливы; а мужской элемент на этом поприще в ту пору вообще не был замечен), так это была бы самая счастливая пара на всём белом свете, они прямо светились: русая коса в обхват талии и Симха кудрявый, смуглый, загорелый и скорый. Про них поэты сложили бы куплеты с припевом на двух родных языках, художники писали бы картины да еще с детьми на руках, а сам Шолом-Алейхем — Соломон Рабинович сделал бы героями своих классических новелл и романов, да просто бессмертными, и вообще был бы мир во всем мире. Вот насколько они, родимые, были прекрасны и чисты. Всё так или

почти так, но где и как долго дедушка бродил, залечивая «раны сердца», — неизвестно, и вернулся он в родные пенаты, когда полностью встал на ноги и, самое-самое главное, освоил, и освоил до высшей точки совершенства, одно славное дело. Да, да, да, все уже поняли (а нет, так я подсказу) — Симха стал «шадхуном» (что есть в переводе с жаргона идиш на русский свадебщик или просто сказать — сват), первым мужчиной в этой профессии, сам убежденный холостяк, давший себе самому клятву или обет не свататься и не пытаться жениться (да и вряд ли в мире найдется женщина прекраснее, стройнее, веселее и нежнее житейски мудрой Машеньки). Всё равно будет только видимость, компромисс, договор, но не любовь (вот тут дедушка немного переборщил и в какой-то момент жизни всё-таки обманулся и на всю катушку и по любви — иначе внуки не получают, а дедушка Симха был человек — детский). Вернулся он! Но не абы как и не просто сватом-шадхуном, пускай и в кацевейке малинового цвета с оборками (хорошо, что не в красной, у тех же бобручан на этот цвет была присказка «дурак любит красное») и с бабочкой в горошек на шее, нет, вернулся он в родные пенаты со вкусом, то есть с молвой. Кто не знает, в еврейской местечковой среде (да и в больших городах) «мирская молва» живет, быстрее и красочнее самой седой или бирюзовой «морской волны» «кисти» Айвазовского. Так вот молва эта о Симхе

как об удачливом, искусном и самом тонком знатоке столь деликатной профессии (да просто Симха «шел» первым номером, что почище любого официального мандата с печатями), с чистой душой, мыслями и помыслами (что не одно и то же; русский язык — богат), полным ходом примчалась и дошла до ушей жителей родных Дубровников и всех местечек окрест и вошла (вошла-дошла) почти в каждый еврейский дом, где имелись его будущие клиенты, юноши и барышни на выданье. Где Симха-дедушка приобрел свой опыт — неведомо, но молва, повторюсь, шла за ним и перед ним аховая, лихая: считалось, если шадхун Симха брался за дело — значит, новая семья будет крепкой и в достатке и деток — вагон.

Вот пример (классика жанра), чего стоит такая «шедевральная» история, модное нынче словечко, иностранное, от французского *chef-d'œuvre*, по красоте и по точности в самый раз будет достойна войти в хрестоматию, если бы таковой быть. Отметим только результат: Симха как-то очень удачно сватал и поженил дочь Боруха Мовшовича Миррочку из города Лубны и ссыльного поляка Чернецкого. Оба, жених и невеста, в немолодом возрасте и жили в разных концах своей планеты (о, сколько трудов стоили жениху — невесте и самому моему дедушке-свату эти переезды то в синагогу, то в костел, то к нотариусу, то в полицейское управление в Егупец), и уже после свадьбы в Лубнах, как и «положено по

штату» (то есть по природе), Мирра взяла и на радостях ровно через девять месяцев родила Чернецкому и Мовшовичам зараз троих детей, то есть тройню, а такая была «худыля», и на тебе! Причем женскому роду они дали сугубо польские имена (Зося — Марыся), а пацана назвали библейским именем Исаак. Тоже была «проделка» дедушки, послужившая довеском к молве. Вот приплод так приплод. Симха и сам не ожидал такого успеха — три в одном. Отец Мирры наш Борух-Абрам-Мовшович, молодой дед, несговорчивым был до краев, сух был насчет лирики (да и поляк этот, чужак, и сразу в семью), зычный авторитет, главный кузнец и рубщик на всю округу, силищи необыкновенной и ростом с дерево и кулачищи с ведро, глыба, а как только увидел в люльке мизер — троих комочков и особо Исаака — наследника, поднял его к небу, во благо Всевышнему... А в награду Симхе-свату любимую кобылу («Аутку») вместе с крытым небесного цвета парусиновым полотном от непогоды крылатым шестиколесным рыночным шарабаном. Олесь же наш Чернецкий (это я дал ему имя, а фамилия его точно; да и сам он ссыльный, за сочинение в молодые годы какой-то пародии на царя-батюшку и его свиту) прислал ему за труды два новеньких седла, ночной фонарь для зимы или бездорожья и для свадебных гастролей гармошку «пикколо» — реквизит его отца — клоуна в Краковском цирке.



А что тут вообще, скажите, искать такого, что мы тут удивляемся и огород городим, если Симха из Дубровников (двоеточие): сметливый, веселый, живой, певческий, с голосом типа баритон и с абсолютным музыкальным слухом (perfect pitch), особо пригодным для куплетов, расчетливый, франтоватый от природы, авантюрный, самое главное в его профессии, и возьмем выше — с умными глазами и руками и головой, чуть ли не с пеленок располагавший к себе людей. Да если бы Симха взялся за любой другой труд, он также был бы чист в помыслах и удачлив и всё такое прочее. Забегая вперед, скажу, что дедушка Симха и его жена Циля последние годы жили и умерли в Мелитополе, где его знали и почитали не только как семейного фотографа, но еще как филигранного переписчика нот для местной детской музыкальной школы. Так вот, в один из юбилеев старшие ученики собрались под окном их жилища на окраине города и сыграли на скрипках и барабанах по нотам туш в его честь — такая молва о моем дедушке Симхе хранится в тех местах, можно быть уверенным на все сто.

Да, довольно «золотить пилюлю», важно одно — Симха наш вернулся в Дубровники домой отнюдь неспроста, а с умыслом, ясное дело, не на побывку к родителям (совсем было постаревшим, продавшим свой дом и двор семье нового провизора из Котельнич, получив стол и кров в ближней синагоге и небольшой пансион от провинившегося блудного сына).

Нет, нет, по опыту и смекалке Симха просто прикинул в уме, что за время своего отсутствия в селе те малые дети, которых он летом катал на загривках, зимой — на салазках, брал в лес за грибами и удить рыбу в протоке с плотины, защищал от «рукатых» (это слово чаще всего встречалось у «витеблян» и означало, что перед началом нормальной мальчишеской драки обе стороны джентльменски договаривались, «чтобы не было рукатых», то есть не бить по лицу и чтобы не до крови) русаков с того берега, — вытянулись, подросли до возраста женихов и невест, да и село разрослось новыми семьями. Свадеб этак с десятков, а кому-то из родителей будущих невест он закинул удочку самолично (женская половина — самый трудный элемент в карьере шадхуна-свата). Однако, охватив взглядом всю канцелярию, Симха понял, что достичь успеха в одиночку ему не фонтан, тут нужен помощник, а где его достать: братьев у него отродясь не было, сверстники кто где, довериться же абы кому тоже не дело, не каждый умеет держать тайну, опятен и на руку чист, а просить — слабость показать. И вдруг само пришло в руки (прямо по Булгакову: не ной, не моли, не проси — сами придут и принесут; классика, братцы, классика). Неожиданно в Дубровниках появился Вевик Рабинович, средний брат Соломона Шолом-Алейхема, писателя из писателей и первого друга Максима Горького. И так случилось (о, песнь песней), что они в момент нашли друг друга — ровесники,

почти одного роста и франтоваты. Для Симхи было ясно, что Вевик был отличный парень, сообразительный, легкий, кучерявый, всё схватывающий на лету и, самое главное для его ремесла, был «поэтом на случай», умеющий сочинять куплеты и даже целые оды, как говорится, «не отходя от кассы». Достаточно было Симхе дать Вевику «рыбу»: имена, приметы быта, внешнего вида и окружающей среды их «жертв», как в три минуты-полчаса-час всё было готово. Такой козырь, подчас решающий вопрос в нашу сторону. Да еще на еврейском жаргоне — просто цимес. Вевик же был счастлив приглашением моего дедушки, так как по наказу своего великого брата, писателя Соломона Шолом-Алейхема собирал песни, рассказы и легенды для любимого брата, который мечтал написать роман исключительно на жаргоне, еще сохранившем «вкусные» приметы и диалекты еврейской речи в самых дальних местах и местечках. Многолюдная же, многолика майская еврейская свадьба — тут самый смак, что тут говорить, всяк знает. Вооруженные клячей «Ауткой» и шарабаном Мовшовича (правда, сменив цвет «абажура» с небесного на розовый), фонарем и гармонью «пикколо» О. Чернецкого, они без усталости мотались по окрестным деревням, шинкам, рынкам, лавкам, мазанкам и синагогам и уже в четыре наметанных глаза и в два ума-палата крутились, как волчки. Начинили с невест — самая трогательная нежная сторона процесса (ей же рожать, а не кому-нибудь,

третьего не дано). Собрав понаслышке со стороны нечто вроде (на современный манер) «досье», первым в «тройке» (жилет-бант-рукавчики) около дома появлялся во всей красе Симха, а когда появлялась надежда на успех, по сигналу — во двор выкатывалась красотка «Аутка» с Вевиком-напарником (в «тройке» в горошек), поющим куплеты во славу и пользу невесты и ее, взятых как за цугундер врасплох, родичей. Было еще (придумка Вевика): он носил на шее деревянную коробочку — туесок от очков-пенсне на дужках (есть известная фотография его брата, известного писателя, в этом пенсне, сделанная в фотоателье Высоцкого на Крещатике), в которой на чистой бархотке и в замше лежала «печать»: листок торы на двух языках для форсу с подписью Сидхи, как Главного Ребе; ребята были еще те. Чем мне тут не гордиться дедом!

То жизнерадостное занятие моего дедушки и Вевика Рабиновича приносило (кроме заработка по негласным расценкам, о наживе тут нет речи) еще и «Аутке» морковь с тыквой, Симхе — деготь на смазку колес, на кузнеца и на хутровщика, а Вевика — тетради, набитые записями новых слов, песен и прибауток на жаргоне, плюс рецепты кушаний и питий (в каждой деревне был свой кошт, свой жаргон, свои обычаи, вот где кайф...), а то и на табачок. А подчас и с «горкой». Правда, если дело не выиграло — то ли молодые не сошлись, то ли их родители

не поделили приданое, «горку» полагалось вернуть. И так, Вевик за время, отведенное им для трудов бок о бок с Симхой, накопил с три короба записей «из первых рук» во славу своего брата-классика. И не скажите, ведь и Пушкин бродил с цыганами, Лесков с соборянами, Горький с босяками, Юрий Тынянов с юным Пушкиным и с «Вазир-Мухтаром»; вот кто знал о Пушкине всё, но всего сказать не успел. А что такое «писатель»? Писатель — это сбор материала. Не понаслышке, не из головы своей садовой, а из сердца... Симха же тоже умножил свою славу и молву, да и копеечку не малую и, в придачу, освоил до краев игру на пикколо вплоть до рулад и звука литавр, а сам музыкальный инструмент еще усовершенствовал при помощи расчески для волос и жестяной крышки (забегая вперед, боюсь другого места и времени да и терпения ни у вас, ни у меня не найдется — уж слишком долго «запрягаю», или еще что-нибудь помешает, — скажу вкратце, что останки этой ручной потешной гармошки-пикколо на ремешках через плечо, с дырочками от цветных пуговиц-кнопок и регистра сохранились почти в натуральном виде на фотографии моего отца, пиликающего на пикколо под абажуром с тесемками в женский праздник 8-е Марта). В планетарном же, во всечеловеческом отношении главный приплод, главный «навар» их работы — новая семья, еврейские дети; Ноев ковчег не считая «Аутки».



*Фотография из домашнего архива.  
Отец Автора с гармошкой пикколо  
в нашей коммуналке на ул. Желябова, 29, кв. 17,  
на празднике в Женский День.  
8 марта 1941 г.*

Но как веревочка ни вьется, пришла пора им, шадхунам — счастливым и ловкачам, расстаться. Вот они уже и готовы, как вдруг к Симхе и Вевику махнул за десять верст на парадной двойке бывший некогда добрым соседом Симхе мельник Шиловицкий с торбой и на одном дыхании с гиком и готовый ко всему заорал во всё горло, как Король Лир или Отелло, что к его дочери Зеле Шиловицкой день и ночь посылает виды, дает сигналы, пассажи, бросает удочку жениться крутолобый сын стряпчего колесный мастер (с жетоном) Левка Вицнудель из Бран, влюбившийся в Зелю за прилавком, всю в муке, на пшеничной ярмарке, и что он желает стать ее женихом и жениться, и что есть у него что дать за нее, а она сразу дала Левке отпор, что и знать не знает и знать его не хочет, но при условии (тут Пейсах Шиловицкий стряхнул усами и бородой, торбой и шляпой, да так, что небо на Дубровниках поперхнулось и померкло — одновременно): пусть Левка, мол, пришлет ей откуда хочет свою фотографию (не вслепую же выходить); и — уехал, оставив задаток. Крупно. На фотографию, хоть из-под земли!!! Чуете, куда клонится ветка, чуете? И будете правы — клонится ветка не к печали, как у поэта, а к радости Жизни с Большой Буквы, самым что ни на есть — залогом счастья, что привалило Симхе, поверните очи к зачину крылатой этой повести — рассказу с колес о дедушке Симхе из Дубровников бывш. Витебской губернии в ответ... и так далее. Ничего себе пироги...

И ребята наши — шадхуны, арлекины наши заповедные, наморщили лбы, дело вот-вот может развалиться, стыд — позор, ясное дело, все только и смотрят на них, благо дошел этот каприз Зельки-замарашки и до всей Брани, и до Дубровников, и может быть, и дальше. Но правда есть правда, это была игра в одни ворота, Левка видел Зельку со всех сторон, слюну пустил, а она его нет даже по слухам, и здесь с ее стороны всё справедливо, а справедливость, как говорил один французский философ, категория — философская, куплетами не отвертишься. Тут гласит предание, да, может быть, и я бы так же поступил на месте дедушки. Он взял паузу и решил дать Зеле-соседке отпор. И послал к дому Шиловицкого своего верного Вевика глянуть на нее (всё же — свои), не разыгрывает ли, мол, Зинка всех на дурачка, цену поднимает. А Левка Вицнудель свое жмет, Шиловицкий руки было опустил, дочь единственная, а вблизи мужского рода под стать ей — нет. Вевик вернулся только на третий день — обомлевший, огорошенный, ослепленный от красоты Зельмы, которую он «застал» за стиркой белья, склоненной три погибели к бадье, как она вдруг выпрямилась (лови момент, и он его — поймал) и принялась двумя, вознесенными к небу, руками справиться (укротить) копну своих (как стог сена), спадающих было бесконечно красивых рыжих волос. И вся-то Зелина стать от тонкой розовой шеи, груди и до талии — открылась ему как на ладони. С другой стороны, Левка, вдруг



почуяв слабину своей позиции, подкидывает еще дровишек в топку и дает сверх того за такую невесту швейную машину «Зингер» с педалью: любовь, любовь, любовь. Условие принято. Вевик депешу знаменитому на весь мир брату — писателю Йегупец. Тот, хоть и был в Лубнах на гастролях, с полуслова всё понял и посылает знак (по голубиной почте — такая почта была только в Лубнах, я проверил) своему лучшему другу фотографу Вениамину Высоцкому, поставщику Двора, чье шикарное фотоателье занимало весь угол Крещатика и Лютеранской... Высоцкий — круговая порука — на скоростной бричке с извозчиком Власом и с запасным колесом и со всем скарбом шпарит без остановок по распутице в эти Браны. Два дня живет на постое у жениха, снимает во всем новом + (плюс) бабочка, возвращается в Егупец, там делает карточки со стекол, обрамляет и переправляет прямым ходом с нарочным прямо к Шиловицким в Дубровник. Еще неделя, Симха и его друг ждут ответа Зели и получают его вместе с ее согласием выйти за Левку и чтобы в этом же мае сыграть свадьбу и прямо на рынке, что и произошло: народу — тьма, всё по рукам и по всем статьям... Еще время пройдет, и молва приносит, что Левка скоро будет отцом, Зельма — матерью и претличной швейей и портнихой, Шиловицкий — дедом. Еще один «ноев ковчег», не считая швейной машинки «Зингер», в сусальном золоте на тулье и педальях пустился в плаванье...

Венцом всей сделки оказался Вениамин Высоцкий, приглашенный Симхой и родителями Левки Вицнудель из столицы и бывший гостем первым номером на свадьбе (со своей треногой — камерой обскуррой, магнием и со всеми причиндалами в отдельном рундуке), «выкинул фортель». Это Веня-Вениамин предложил сделать групповую фотографию всех участников в память такой выдающейся сделки с таким прекрасным результатом. Получив согласие, он взял двух новобрачных, родителей Зели, обоих наших героев шадхунов-сватов, а также трех сестер Левки из далеких Котельнич и их мужей с пейсами и в шляпах. На круг — ровно 12 персон. Рассадил их чинно на широкую лавку в один ряд (как у Моисея Наппельбаума — мирового короля-законодателя групповой фотографии тех лет из Минска и до сих — непреодоленного) и каждому на руки и на колени посадил по ребенку из уличной разноцветной детворы — русых, кучерявых, рыжих, белесых, конопатых... А на «первый план» Веня, собака, выдумщик!, перед всей честной компанией поставил приданое (идея суперклассная) — Левкину швейную машинку «Зингер». Вскоре на углу Крещатика и Лютеранской в самой большой витрине фотоателье Высоцкого появилась втрое увеличенная в бронзовой раме с позументами эта парадная фотография под названием «Свадьба с приданным» и дальше: «Семейные и свадебные фотографии с приданным — только у меня. Цены — умеренные,

срочные — дороже...» С подписью: «Фотограф поставщика Двора Его Императорского Величества такой-то и такой-то с сыновьями». С того момента у той витрины постоянно торчала толпа зевак; половина семей и невест Киева предпочитала сниматься только у Высоцкого, а американская компания «Зингер» открыла при ателье свое представительство. Разве это не «судьба», решенная своими руками, головой и опытом. Для Вефика — полная чаша, так как на этой свадьбе он записал еще три новых песенки из Бран и Котельнич, одну молитву и редчайшую еврейскую сказку сплошь на жаргоне, которая полностью перешла в повесть Соломона Шолом-Алейхема, известного писателя, а вот для Симхи эта чрезвычайно трудная холерная сделка со счастливым концом и добрым заработком стала последней («последний штрих художника»). Он решает бросить напрочь свою миссию свата-шадхуна и решает стать фотографом-профессионалом, как маэстро Высоцкий (или хотя бы около того, там видно будет, ученье и труд — всё перетрут). То есть взять планку «выше ординара»... Укрепившись в этой мысли окончательно, Симха (ему было на круг лет 35–37) за пару дней до отъезда извещает об этом Высоцкого, который совершенно даже и не против («масла» подлил Вефик, распинавшийся в комплиментах по адресу Симхи) и дал свое согласие взять дедушку в ученики, даже предложил ему угол за половину жалованья и весело добавил: «Не забудьте,

уважаемый, захватить вашу итальянскую гармошку, это вам в новой профессии пригодится, да и меня научите». На оставшийся съёмочный день маэстро предложил ему работу: таскать за ним треногу на восемь копеек в час. Симха был счастлив. Вот как-то так сошлось-сблизилось. Стоп! То была «вспышка магния»... Вот Высоцкий, накрывшись с головой черной атласной бархоткой, наводит свой чудо-аппарат на восседавших в тревожном ожидании новобрачных и всю компанию, что-то покручивает внутри гармошки с объективом, щелкает затвором, вылезает обратно, достает из того рундучка стекла в оправе, фонарь, потом громко произносит на идиш привычное «господа, снимаю...» и включает фонарь. Вспышка. Доля секунды, и тот самый семейный кадр (см. выше) был готов. Это был «момент истины» для Симхи. Особенно, я полагаю, его стронуло с места, когда сидящий на его руках мальчуган ткнулся ему в плечо, а девочка на руках Вевика захлопала в ладошки.

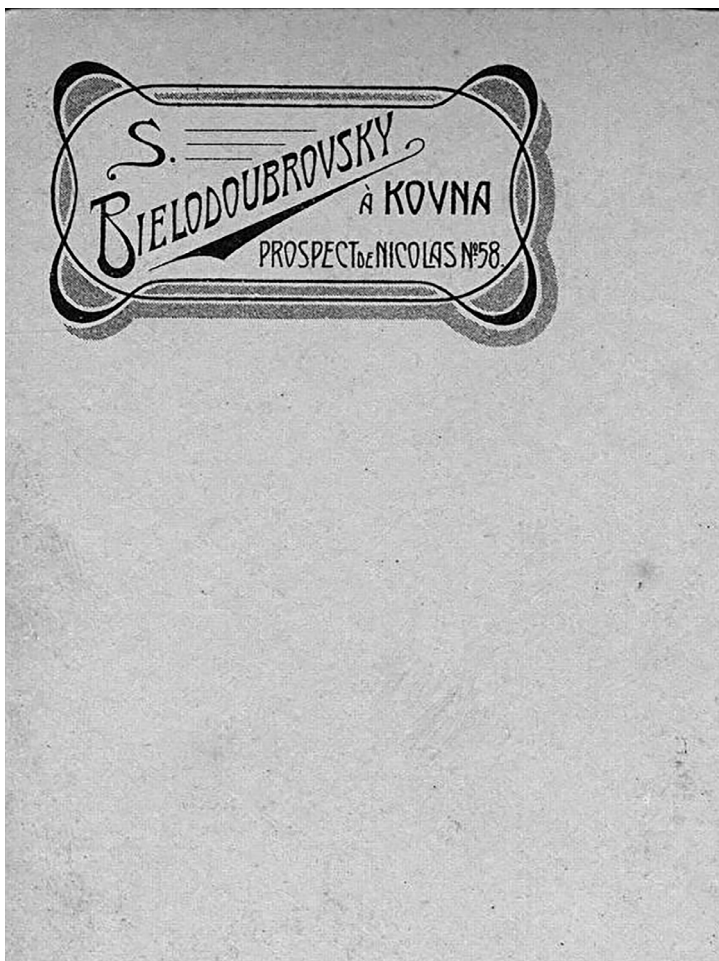
«Вспышка магния»!!! Беру (пишу) в свою повесть-рассказ эти два слова и закавычиваю, ибо здесь не просто изящная метафора, изобретенная самим дедом Симхой и ставшая крылатой... Да, да, именно так, в этих двух словах и есть ответ на чей-то имярек праздный вопрос, как, мол, случилась с ним такая оказия или, как говорят в театре, «чистая перемена» уже будучи «взрослым дядей», и теперь через три поколения эти два ярких слова достались нам, как заповедь

и как знак, какие «магические» на пороге второй половины жизни человека подстерегают счастливые «озарения» и освещают его *profession de foi*. Однако тем же «макаром» Симху покорила сам маэстро Вениамин Высоцкий. Вот он собственной персоной; цивилизный, быстрый, легкий феномен с усиками, в кожаном пальто в штрипках, в берете, стройный, весь ладный и с тростью наперевес — точь-в-точь «майский жених». Симха не отходил от него ни на шаг, ловил каждое слово и жесты, чуя в этом чужом человеке из большого чужого города что-то себе под стать и родное, неминуемое, вот как судьбу и — неотчуждаемое. Точно так же и почти в те же времена писатель Александр Грин мальчиком-гимназистом из далекого заштатного городка в глуши Пензенской губернии, увидев один раз приехавшего на побывку к своим жившим по соседству родителям лихого матроса в капитанской фуражке, от которого «пахло морем и смолой», бежал из дома и стал — выдающимся писателем-маринистом и фантастом, «морским волком», освоившим все морские профессии. Конечно, дедушка Симха и большой писатель Грин не равны и розны, но человеческие чувства не поддаются иерархии, разве не так!

Проходит год-полтора, почти целая эпоха, и вот однажды там-то и там-то мы видим дедушку Симху с мандатом от полицмейстера и с бумагой старшего рабая (на всякий пожарный), как он поутру к первой

молитве появляется в самом людном месте со своим шестиколесным шарабаном, запряженным преданной молчаливо-покорной кобылой «Ауткой». Потом достаёт треногу. Ставит на нее как положено камеру, накрывает бархоткой черной магии от засветки и порчи объектива, и итальянскую гармошку «пикколо», начинает свою гастроль (рабочий день) на глазах еврейской ребятни — свадебными куплетами собственного сочинения. На голове — берет, на шее — бабочка. Вся эта канитель длилась с 10 утра до 3 часов дня (самое светлое время). Всё честь по чести, всё как в аптеке, — это ведь был его дом и кров, и кусок хлеба. Народ валил сниматься — чудо света; дети малые и девицы, и юноши, и родители, и их бабушки и дедушки — его люд; брал, говорят, по-божески, не дорого. Для изготовления же готовой продукции (позитива) Симха заранее нанимал за гроши подсобку, склад, чулан или чердак при дворе местной синагоги или шинка. И до первых петухов или возгласов цадика о приходе утра или дудки пастухов он колдовал (всё по науке и по опыту, ибо знал он это ремесло — назубок из первых рук Поставщика Двора, да и сам был норовист и умел учиться). Всё на здорово, тепло, страстно, весело, уютно, профессионально и мило по дедушкиному сердцу и уму. Так было и в Гомеле, и в Ковно, в Луцке и в Витебске. Здесь, в Витебске Симха обосновался довольно плотно, сняв мансарду с вывеской почти через улицу (см. «Витебский вестник»), где жил Шагал и его

учитель Пэн с учениками, и они, возможно, с моим дедушкой пользовались одним и портным, и провизором, и парикмахером. Именно эти ребята сделали ему для рекламы на посошок складень в трех кра-сках, на которых была изображена троица — смуглый дервиш в Нубийской пустыне босой, с лоскутным одеялом через голое плечо; всадник без головы на «Аутке» и третьим — еврей — торговец с носом в рю-мку в жилетке перед прилавком, на котором весы, а на весах кульки с сухофруктами. И как полагается, вместо голов — обвальные дыры, но не в том суть момента, да и спросить уже не у кого... Вот Казань, Харьков — так в Харькове Симха расположился прямо около «Зверинца Яши Друинского», где он брал соба-чек и птичек напрокат для детских фото-сеансов. Или вот в Жлобине местная копеечная газета на брачной страничке поместила анонс Симхиной фотогра-фии, затиснутый между «Зубоврачебным креслом» (скажем, Пио-Габриловича) и «Бухгалтерскими курсами для женихов» выпускника Тенишевского Коммерческого училища в Петербурге (дадим ему фамилию — Стебницкий), а в Ковно и того пуще: на третьей страничке одного из номеров журнала «Ко-венское зеркало» за 1910 год и вовсе была напечатана обратная сторона фотографии с именем моего де-душки и с адресом его предприятия, документ «выше крыши Памира»: «S. Belodubrovskii. Kovna. Nikolas. Prospekt, 38» и с виньеткой, как положено по штату.



Оборотная сторона фотографии Симхи Белодубровского  
в Ковно с адресом. См. «Ковенское зеркало» (1910).  
Подлинный документ.



Самым главным городом в странствиях нашего дервиша с фотопередвижкой был губернский город Бобруйск на реке Березине, где он развернулся прямо под носом огромного дома зажиточного лесопромышленника Мордухая Шаевича Кацнельсона и его жены Софии (урожд. Ботвинник). С колоннами, обветшалый, жухлый, серый, пустопорожний с болтающимися железьяками от балконов, но еще крепенький в крапивном бурьяне полевых цветов, клевера и подорожника, он стоит «наискосок» и сейчас на том же месте в полный пост — в конце по Садовой улице старого одноэтажного соломенного Бобруйска и торчит на глазу у местных краеведов, то и дело поднимающих в местной прессе вопрос о реставрации реликтовой «единицы хранения», но тормозится в поисках хотя бы наследников, а все архивы погибли в ту войну. Так вот, в Бобруйске «Дом Кацнельсона» оказался «главным» в счастливой юдоли Симхи — холостяка и странника, потому что здесь, по Садовой улице (угол Широкой), он нашел себе жену — судьбу (недаром судьба женского рода, как на идиш я не знаю, и дальше пошли в мир его внуки, правнуки и правнучки) Цию — Цецилию и совсем даже и не «бобручанку», а родом из Гомеля, что на другом конце еврейского света. И оказалась она Симхе совсем под стать: расчетливым умом, сметливостью, нежным теплым певучим голосом и еще — бусами, которые шли к любому ее наряду... Молодухой Ция

выучилась в Гомеле бухгалтерскому делу, и её через родственников или знакомых (это у нас в крови) по молве отправили в Бобруйск со своими счетами в картузе и с едой на первое время — где она и осталась. И вот уже третий год как вела дела и учет в солидной конторе. Мордуха сама себе хозяйка жила (а не «прижилась» как служка) во флигеле «со столом и кровом». Как бы там ни было, но факт фактом, что они оба соединили сердца и таки да родили себе двух детей: девочку Идочку и сына Боруха. Теперь всем понятно — кто наследник Дома Мордухая на Садовой улице старого Бобруйска... Циля — Цецилия. Так вот, дедушка Мохдух (Михаил Александрович), лесопромышленник, купец 2-й гильдии, поставляющий свой мачтовый лес исключительно для нужд российского флота и царских яхт, подобно Симхе (Семену Григорьевичу) имел свое счастье, данное ему тоже не иначе как свыше: у него год от года (год от года, год от года, читайте как припев к каждому куплету) рождались дети, причем поочередно — девочка — мальчик — девочка — мальчик. Например, Линочка Кацнельсон, родившаяся в 1900 году, была четырнадцатым ребенком в семье, в 1922-м она окончила Частную женскую гимназию З. Н. Ильинской с именным серебряным жетоном, который Линочка обменяла на мешочек риса и пачку папирос «Nord» в блокаду (это не для «краски», скорее для меня)... Одно важно — почему Симха поставил свой шарабан с «Ауткой» у ворот

этого, не какого-то иного дома — сказать точно мы не можем, но ответ бродит на поверхности: его вместе с «Ауткой» как-то сразу, должно быть, «повело» на детские голоса, которые денно и ночью роились от Садовой и дальше-дальше, а Симха был человек детский. Продолжение следует...

И остается добавить, что Семен Григорьевич был самым первым модным фотографом в Гомеле (где на 1904 год их было числом — четыре на одной только Дворянской улице), который для пущей важности изобрел для женихов-клиентов щеточку для усов. И даже хотел запатентовать свое изобретение, но юридические хлопоты и царская печать стоили больших денег, самолюбием он не страдал, да и еще считалось у них в той чудной среде как-то неловко оставлять надолго своих молодых жен, мало ли что, влюбится ненароком, мир-то велик, а Гомель большой город. Она, эта щеточка, сохранилась где-то, почти со всеми зубчиками и с дырочками от волос, как, кстати, и дедушкино пикколо, вернее, ее останки почти без клавиш в зашитом на скорую руку футляре, о чем уже не раз было сказано-рассказано, но греют душу они своим теплом до сих пор. Вот так, дорогой друг и славный правнук сыровара из Бобринцов, получилась эта повесть — рассказ про Семена Григорьевича, героя беспорядочных и лоскутных страниц, облаченных в одеяло дервиша в Нубийской пустыне...

## ЛАЙК ГАНДЕЛЬСМАНА

*Светлане Зенкевич*

**Я** не пишу стихов. Хотя и писатель. И смею думать, неплохой: иным я себя и не мыслю с самой школьной скамьи. Лет так с 13-ти (13 — мое счастливое число; проверено судьбой). Со школьной скамьи.

Школа была особая (старинная, немецкая, католическая, лютеранская — бери на выбор, не ошибешься), почти ровесница православного Петербурга и Невского проспекта, расположенная в проходном дворе, между Большой и Малой Конюшенными улицами и Шведским переулком, где она и кончалась. Она называлась «Петершале» в честь Петра Великого, лично открывшего «окно в Европу». Фасад нашей школы: величественный, стройный, желто-бело-карминного окраса с крытым подъездом, каретным сараем, парадной дверью, прямыми колоннами-пилястрами между широких окон, буколическим бельэтажем посередине и резной лепниной и орнаментом, усердно напоминающей обложки, закладки-виньетки стихотворных альманахов и сборников пушкинской поры. Конечно, время делало свое дело, фасад ветшал, школу мою

перестраивали, крепился фундамент, латалась крыша, но ее первозданность не смогла быть нарушена, как бы не поддавалась, и, каждый раз проходя школьным двором или в мыслях, я словно беру перед фасадом под козырек и задираю голову аж до четвертого этажа, под самую крышу, где царит школьная библиотека, моя «alma mater» (хотя впереди до т.н. «аттестата зрелости» были другие средние школы и ШРМ на Лиговке). Я прожил в этих стенах шесть полных лет — именно «прожил» (а не проучился), так как здесь я приобрел начатки самых основных человеческих качеств, необходимых для молодого юноши, «обдумывающего житье» (как писал Владимир Маяковский), и которые и по сей день помогают мне преодолевать унылость, робость, корысть, беспамятность и душевную лень.

Да! Всё так, но как ни крути баранку, поэзия — не мое! Всё — проехали. Слово-то оно, конечное дело, мое и оно живое. Как бог, как Луна, как темно-зеленая не пенная студеная невская волна, бьющая в гранит «выше ординара» на Стрелке Васильевского острова (помню, как мы со старшим братом в ожидании наводнения бегали наперегонки от нашего нобелевского дома на Мойке к Зимней Канавке дотронуться до этих чугунных), или петербургский дождь — разве это не Поэзия Сама. Вот видеть — вижу, слышать — слышу, чутя — чую, мокну, умываюсь дождем, не заметив, что стою прямо в луже (кому поэзия не чужда)... Но как достанет меня взяться за перо, разделить

с читателем эту картину — могу чесать только прозой. Нет, на случай, конечно, я могу сочинить и написать какие-то стихи (ведь наше профессиональное ремесло — слова, а за ними уже звуки и образы, или — наоборот, не в том суть), и даже складные и по форме и по содержанию (что, впрочем, одно и то же), и даже они могут привиться (модное нынче слово) моим близким, домашним, друзьям, ученикам и понравиться мне самому тоже (ведь мог же сам Пушкин хвалить себя, «сукина сына», хлопая себе самому в ладоши, а мне почему нельзя, что ли?). Но зато я знал и был лично даже знаком с настоящими поэтами, к примеру, я знавался с двумя Викторами: Соснорой и Кривулиным, а в Москве — с Генрихом Сапгиром; могу даже сейчас позвонить на домашний самому Александру Семеновичу Кушнеру, и уверен на все сто, что он меня (пусть — не сразу) узнает и ответит своим теплым детским тихим задумчивым голосом. Есть и на моей книжной полке томик Лермонтова, подписанный Евгением Евтушенко. Дело было в Москве в начале 60-х, куда я часто наезжал к своему армейскому другу — Фиме Гурарию, который принадлежал к московской богеме. Жил он в центре города, «открытым домом», на первом этаже на улочке Медведева, проходном дворе гостиницы «Минск», выходящей фасадом на улицу Горького, где дневал и ночевал разный люд московский моего поколения. Там я познакомился с Машей Гуральник, такой юной леди с открытыми

плечами, мы сдружились. Я «горел» Мандельштамом и романом Ильи Эренбурга, и Маша чуткая однажды мне сказала, что ее отец, профессор русской литературы Уран Абрамович Гуральник знал их обоих по Москве 20-х годов. Мне это дико понравилось и даже больше, чем его дочь. Так бывает, бывает. Я всё ждал встречи, но она всё откладывалась, профессор просил прощения: студенты, дипломы, защиты... И однажды в качестве «отступного» прислал мне билет на выступление Евгения Евтушенко в МИИТе. А мне Мама на дембель подарила вязаный голубой свитер с оленями во всю ширь груди, дело было зимой, мы с Машей пошли, я в свитере, Маша в шали... Как он читал, и что за публика, висящая чуть ли не лампах, — не в том суть вопроса (да и точную дату этого события можно легко найти в летописи классика Поэта). Суть в том, что Женя был в том же свитере что и я, сидевший с Машей моей на блатных местах в первом ряду, я заметил, что и он это «сходство» заметил, и из ревности (вот-вот отобьет) и положил свою руку на руку моей Дульцинеи... После чтения публика понеслась к нему в фойе подписывать его книги, но мы не успели и нам достался в киоске скромный голубенький томик Лермонтова издательства «Советский писатель», и Маша двинулась к Евтушенко — подписать... Я был рядом, — оба Евгения в одинаковых свитерах — рассмеялись, Женя взял томик, покрутил и подписал на обороте в самом низу «Е. А. Евтушенко» и упавшую нечаянно с плеча Маши фрагмент шали нежно водрузил на место...

К этой истории о поэтах и поэзии в моей жизни я мог бы добавить, что сидел на той же парте (в нашем 3 «б» классе на третьем этаже в Петершуле) на «камчатке» (есть любительская фотография со мной на этой парте у самой стены), где сидел сам Даниил Хармс, о чем мне рассказал в 80-е годы его однокашник, замечательный ленинградский художник по стеклу Борис Иванович Смирнов, однако это уже совсем не в ту степь, но как говорил Твардовский (тоже поэт большой, очень большой), «всё же, всё же, всё же...».

А вот один из «моих» самых-самых ближних, одаривших меня и стихами своими, и дружбой, и личностью своей на все лады, — был и остается Поэт Володя Уфлянд (уже не говоря, какой он был прекрасный и остроумный художник). Да, конечно, я мог бы даже по сусекам собрать с десятка полтора-два таких своих «стишат» — курам на смех, но и только, пусть живут, да давно и подавно сия Муза меня не тревожила; своих-то забот у меня предостаточно, но всё больше по милости дающейся мне «презренной прозы» (см. Пушкин). Да и возраст — стучится...

Но вот тут недавно «подстерег»-таки меня, чистого прозаика и старателя — офеню, подстерег точно по Блоку — «случай», ухватил за цугундер и прямо-таки призвал — к стихам. Да так, что я сначала чуть было не скатился с катушек (нет — только сначала, потом — всё путем). Тем случаем оказалась Луна. Луна за моим оконным стеклом. Было около четырех ночи, для совы приличное время.





*На фото я, проживающий на Желябке, рядом с ДЛТ на одну трамвайную остановку, — Женя Белодубровский, ученик 4 «б» в Петершуле — последний в первом ряду на «камчатке» (позади — моя любимая чудная училка Бела Захаровна Гузман). Так вот на этой парте на той же «камчатке» в свои школьные годы сидел Даня Ювачев, будущий гениальный детский поэт Даниил Хармс, и строил рожи самой мадам Хармсен*

То есть где-то к пяти можно бы и залечь в койку, ожидая милости от Бога — сна. Мой ориентир — детский сад, что напротив, и перед ним дежурный фонарь... Но тут я что-то забеспокоился: детский сад есть, а света и фонаря, казалось бы, и нет. Ночь — глаз коли. Стал шукать вокруг. Завертел башкой туда-сюда, вниз на снега и вверх — на небо, и вдруг увидел почти прямо над собой сумасшедшего света чистейшей легированной стали Луну. Полный-полный, законченный по всем статьям по «Учебнику геометрии» (то ли Киселева, то ли Рыбкина, давно это было, в годы мои школьные-петершкульские) — овал. Отвес. Снежное озеро с темными, как обод, краями по кругу. Ничего себе — блюдечко... Смотрит она, Луна, на меня во все глаза — обалдеть; и смотрит вопросительно, и мигает как на ветру, и тут тень пошла от фонаря детсадовского, и сразу мне пришли в голову последние строки стихотворения Мандельштама «Кому зима — арак и пунш голубоглазый»:

*О, если бы поднять фонарь на длинной палке,  
С собакой впереди идти под солью звезд  
И с петухом в горшке прийти во двор к гадалке.  
А белый, белый снег до боли очи ест...*

И хотя это стихотворение совсем печальное с таким грустным финалом — мне весело. Луна моя мне явно что-то говорит: ничего, мол, не бойся, мой

свет глаза не слепит. Вот миг — с ума сойти можно! И по цвету, и по свету, по живительной «ночной мгле» (Пушкин). И всё-то за моей спиной стало совсем светло, вот-вот лунные зайчики заиграют по стенам и книжкам моим, взять только зеркальце: Луна — сама, она так близко, гляжу — не нагляжусь, ведь казалось только рукой подать... Не упустить бы, не промахнуться... И стронуло меня дикое желание поделиться (вся классическая литература и поэзия зиждется на этом желании — делиться) своим Окном и своей Луной, разделить их со всем миром. У меня есть мобильник с ладонь, «американский» «блекберри», ежевичный, с отличной камерой и с объективом с ежевичное же зернышко, да еще сама держит и цвет, и свет, и фокус сколько требует натура, и надо это приключение, этот монолог с мерцающей дивным белым светом, подмигивающей лично мне в мое снежное Окно на петербургской окраине самой Госпожой Луной (точнее «с госпожой Удачей...», как пел огненный Паша Луспекаев в «Белом солнце...»; «Паша» — это не фамильярность; мы в конце 70-х работали вместе с ним на съемках у режиссера Давида Карасика на Чапыге, я — рабочим сцены, он — Ноздревым) заснять на мою мизер-камеру («на́ слово»-то кто поверит, да и «найти» слов-то таких, которыми возможно передать в точности чудо-юдо так сразу, — не моги!). Но вот уж далековато до Луны — скажете! И будете

опять правы. Данность такая вдруг. Награда за бессонницу (не все, друже мои, знают, что «бессонница» — это не болезнь и не прихоть, и не отмазка для графомана, это есть — страдание; спросите того же Александра Сергеевича). И бросился я искать свой мобильник. То там, то здесь шарю по комнате, время бежит... Наконец нашел на полке книжной, нащупал в темени и к Окну, к Луне... Навожу аппаратик-фотик и вижу ужасную картину: Луна-то моя за тот миг, что я отошел от Окна, изменилась, потускнела, почти потеряла блеск свой и кураж и сталь и уже не светом, а свинцом пулевым смотрит на меня, совсем скукожившись, словно узница в оплетке откуда тут ни возьмись голых веток тощей осины («голик» — это называлось в моем детстве — для бани)... Такая что ни на есть дико впечатляющая картина Луны за тюремной решеткой.

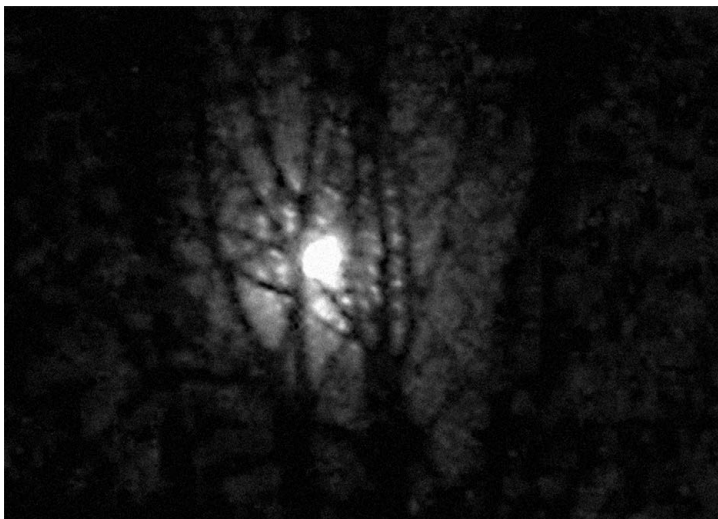
Ни Тебе ни «былинок», ни пылинок, ни травинок, ни «корзинок», ничего из того что подглядел своим зорким оком и пером записал Осип Мандельштам: «На Луне не растет ни одной былинки, / на Луне весь народ делает корзинки...» Прочитал эти строки и вдруг вспомнил слова Анны Андреевны Ахматовой, что, мол, вот все знают, откуда приходят стихи Пушкину или Блоку, но кто покажет, откуда исходят божественные стихи Мандельштама. Луна моя — за решеткой. Грустно, но и не весело, щелкаю, щелкаю — такая картина — как неумолкаемая цитата.

Сердце мое — навывлет от такой жути пророческой. Но оказывается, что Земля-то Шар. И еще минута-две и вся эта тюряга-коряга сдвинулась с мертвой точки, и вновь всё вокруг меня и спящего без задних ног детского садика ожило, и фонарь вытянулся в струнку, и вот я уже вовсю счастлив: ведь все спасены — и я, и Мандельштам, и всё человечество тож... А моя подружка-Луна уже совсем высвободилась из осиновых пут и кущей и, бочком никелевым своим превратившись в яркое пятно с копеечную монетку, с грошик, увернулась и покатила за крыши соседних плывущих домов-кораблей (в которых уже кое-где в окнах появился свет, пора вставать кое-кому), оставив меня один на один со своим Окном, рабочим столом, настольной лампой, камерой и листом бумаги, дабы на посошок нам обоим в назидание написать (застолбить пером) выпавший счастливый с горчинкой — случай этот с т и х а м и...

И вот такое написалось:

*Подружись с моей Луной,  
спишь Ты или не спишь — всё равно, кто Ты.  
Подружись с моим окном,  
подружись с моей Луной.  
Если можешь...*

*20 Лун 21 ноль один 2022  
4 часа 38 минут почти утра...*



PS. У меня много друзей. Может быть, сто! А может и сорок. Но из самых мне близких двадцати женщин и мужчин я, посчитав, что написанное четверостишие — ничего себе, послал его на проверку (вместе с фотографиями) по электронной почте лишь одному из них на выбор с просьбой послать его друзьям и коллегам по цеху.

Вот его ответ: «...А Ваше стихотворение, Евгений Борисович, я, согласно Вашему желанию, обнарудовал вместе с подлунными фотографиями в сети, и отклики самые добрые, и даже сам Владимир Гандельсман лайк поставил...»

Я был счастлив.

\* \* \*

Владимир Гандельсман. Поэт. Родился в 1948 г. в Ленинграде, закончил электротехнический вуз, работал кочегаром, сторожем, гидом, грузчиком, преподавателем русского языка и литературы и т. д.

Генрих Сапгир (1928–1999, Москва). Поэт. Родился в Бийске.

Виктор Соснора (1936–2019, Санкт-Петербург). Поэт. Родился в Алушке.

Владимир Уфлянд (1937–2007). Поэт и художник-график. Родился в Ленинграде.

## ОДА К ВОРОБЬЮ

*Владимиру Свиньину*

Удел твой видя просветленным взором,  
Зачем нам скорбью омрачать сердца?

*Джон Китс (перевод С. Сухарева)*

*Из цикла «К миру» (3)*

**Д**осужие крохи воспоминаний и строки из чертовой дюжины простых писем. Без комментариев и примечаний, то есть — как есть... Прямо с колес...

Лето 2014. Середина июля. Погода так себе. Комарово. Так называемый «Дом творчества писателей» (ДТП). У нас на всё про всё десять дней, на все остальные времена все номера проданы загодя... Мы с женой и с котом приехали за час до обеда, как было велено строгим начальством; здесь обитают писатели, они творят, им требуются тишина и сосредоточенность, тревожно что-то. Нам дали ключи от номера на третьем этаже главного корпуса и показали место в столовой. Мы поднялись, быстро расположили свои пожитки, вынули из баула кота Куню, кинули ему корм... Потом спешились, вышли



на широкую лужайку и присели на садовую скамью что напротив входных дверей корпуса — ждем 2 часов. И вот пробил час. И откуда ни возьмись (из дома и из каких-то щелей в саду, от пристроек, задворок и так далее) появились отдыхающие люди и дети. И все они довольно длинной чередой (в кое ком я узнал своего коллегу по читательскому цеху и поклонился) неспешно так потянулись в столовку. Мы, как новенькие, решили пропустить толпу и пойти последними, благо наше место было за последним столом прямо на выходе у стеклянных дверей обеденного зала, то есть — на камчатке. Только мы двинулись к столовке, как в дверях нашего коттеджа появился невысокого роста широченный такой человек на коротких костылях, его острые плечи были почти на уровне шеи и большой головы, непослушные ноги сильно и крепко прижаты к земле, но они, было видно, только мнимая опора. Вся его фигура заняла весь довольно большой дверной проем. И несмотря на то, что перед нами стоял инвалид, очень больной человек, была в нем какая-то твердость, какая-то убедительная мощь и сила, он как будто готовился к прыжку (кстати, это ощущение мощи и силы Сергея Леонидовича, его борьба в преодолении недуга — не покидали меня всё короткое время, с момента, как мы впервые свиделись и вскоре — и потом — сдружились; это постоянно ощущалось не только прямо перед глазами, но и в коротких ответных письмах его ко мне, и в мыслях

вслух, и в наставлениях, в рукопожатии и так далее)... А пока я вижу, что этому человеку тяжело стронуться с места, он как-то резко двинул головой, вздохнул, поправил очки, тряхнул плечами и костылями (словно повис на них) и мужественно сделал первый шаг на ступеньку вниз, потом еще на одну, вот преодолена и третья и наконец — победная прямая каменная тропа... Еще миг, и я было кинулся к нему помочь, но по его взгляду и даже по вдруг явившейся на мой жест полуулыбке я понял, что он в порядке: дело — привычное. И тот тогдашний первый благодарный взгляд в мою сторону я уловил... И — запомнил (и держу его и буду держать в памяти столько, сколько она во мне будет теплиться...). И вот еще миг-два, и я уже узнал в этом человеке Сергея Леонидовича Сухарева, известнейшего переводчика английских поэтов-классиков. И в частности — Джона Китса. Правда, «узнал» чисто визуально. То есть из рассказов о нем моего давнего старшего друга поэта и переводчика Игнатия Ивановского, который чуть ли не накануне этого лета как-то позвонил мне по домашнему телефону (все мы, знакомые, многочисленные друзья и коллеги И. М. Ивановского, знали эту его привычку читать по телефону свои новые стихи и переводы или просто анекдоты и ждать похвалы, и как правило — заслуженной) и битый вечер, час-полтора читал мне в трубку своим глухим баритоном сонеты Джона Китса в переводе Сергея Леонидовича из какой-то его

новой книжки переводов. Сильно их хвалил (в ущерб Маршаку и самому Пастернаку, это скорее всего было причиной такого нашествия) и вдруг — в конце затянувшегося вечера — И. М. поведал мне с волнением и довольно подробно, с каким страшным недугом живет многие годы и творит этот человек, превратившим его из сильного здоровяка с алтайских гор, мужа и отца двух сыновей — в инвалида и калеку... И вдруг я вспомнил, как в начале 90-х для книги переводов текстов лекций и биографий лауреатов Нобелевской премии по литературе именно добрейший Игнатий Михайлович рекомендовал Сергея Леонидовича для перевода текстов Уильяма Голдинга, но что-то не сошлось тогда в его календаре...). Собравшись с силами, я подошел к нему и сказал, мол, здравствуйте, Сергей Леонидович, вот как хорошо, что вы здесь, и что совсем недавно мне рассказывал о вас Игнатий Михайлович Ивановский, читал ваши переводы Джона Китса и так далее... Ответ Сергея Леонидовича был прост. И в том же роде и радушии (и даже — веселей), что он давно уже завидел нас в окно и переживал, как мы томились на солнцепеке, ожидая горничной... И что этот наш кот пищал в своей кутузке на весь двор и разбудил его совсем даже кстати... И дальше: что он тоже быстро узнал во мне — меня, как автора саги о пальто, от одного названия которой (точно его слова) ему было трудно оторваться, чтобы не прочесть что там дальше... Удача, большая удача, повторил он

одним махом и, выдохнув, добавил, что мою «Сагу...» принесла ему Галя Гампер... И так по пути в столовку — мы, как говорится, в одночасье (и смею думать — навсегда) познакомились. Да, именно в «одночасье» (обратно мы уже шли вместе и называли общих друзей). И так повелось, что мы почти каждый Божий день (из тех десяти, отпущенных мне в то заповедное лето 2014, встречались и часами (после завтрака) и потом (перед ужином и после) и далее, уже до последних петухов попивали ром, красное и даже виски и говорили обо всем, что нас сближало и что теребило и волновало душу живу (благо солнечные дни были редки, а больше дожди и дожди и пасмурно...). Всё это пиршество в основном происходило в полукруглой беседке, что стояла в глубине зелени, в самой куще дерев, на тенистой окраине писательского сада, которая была разбита примерно в пятидесяти шагах от парадной известковой балюстрады времен бывшего именитого владельца этого всего. Причем на время похода к беседке Сергей Леонидович заранее, чтобы не терять время (а почти каждый наш поход к месту встречи с остановками «подышать» у него занимал, как правило, минут двадцать, а то и полчаса), готовил «на дорожку» что-то любимое из русской классики (например, он изустно знал целые куски или из «Мертвых душ», или вот гоголевскую «Повесть о капитане Копейкине», или что-то из «Капитанской дочки». И что меня окончательно сразило,

как однажды Сергей Леонидович вдруг остановился посередине пути и прочитал мне почти весь диалог Глумова с Городулиным из «На всякого мудреца...» Островского, который, по его словам, не давал ему покоя несколько дней...).

Короче, это были десять дней праздника литературы и поэзии, где тон задавал Сергей Леонидович Сухарев... Особенными были его рассказы о муках переводчика. Помню один такой эпизод, когда ему для того, чтобы понять, что означает (или как он сказал — что таится) для англичан эпохи Спенсера или Китса одно-единственное, затерянное в словарях словечко из Кольриджа или Шелли (ему думалось на первый взгляд, что речь могла идти о каком-то военном сооружении или даже о самом оружии), но слова главного, ибо оно завершало целую главу, — ему пришлось перечитать много справочных английских книг по военной истории той поры. И найти истину, и я видел, как он гордился этой находкой... Оказалось неожиданное: это слово означало вид сукна, из которого шили плащи для облачения воина перед главным сражением. Это как же надо, друзья мои, знать английский язык, его диалекты и нормы в эпоху чуть ли не крестовых походов...

Конечно, я был не единственным участником комаровских посиделок с Сергеем Леонидовичем, приезжали из города его родственники, ученики, студенты-филологи, коллеги — переводчики, издатели...

Но почти постоянно рядом с ним был наш старший отдыхающий со-товарищ, строитель больших кораблей Игорь Вячеславович, по фамилии Соколов, удивительной доброты человек, далекий от занятий историей литературы, да и не поклонник больших возлияний (настоящие бражники собирались отдельно, на другом конце сада), самый ближайший друг и горячий спутник Сергея Леонидовича по летнему отдыху (и в прежние годы), готовый действовать в трудную минуту, когда недуги Сергея Леонидовича давали о себе знать слишком сильно...

Теперь вернемся к основному и самому выдающемуся деянию Сергея Леонидовича, к его любимому поэту Джону Китсу. Все, кто постоянно ездит в метро, не могут не заметить торчащих вдоль всей линии эскалаторов вниз и вверх светящихся рекламных щитов, назойливо предлагающих нам то женское белье, то скобяные товары, то еще какой-либо непотребный аптечный ширпотреб вразнос с ликами бегемотов, жирафов, разных деятелей или с попугаями — один и тот же избитый плакат со шпилем Адмиралтейства, сдобренным неуклюжими виньетками и закорючками Пушкина, и другой — со стихотворением Джона Китса «Ода к соловью» (той же игрой с пассажирами в классиков однажды в качестве рекламы торчал портрет небритого Сергея Довлатова с малознакомой и чуть ли не с последней фотографии писателя американской поры)... И странное дело: если реклама всякой

всячины на этих щитах время от времени менялась, но Пушкин и Китс остаются непременно («держатся братки-поэты, не поддаются тленью», — как на это весело откликнулся Сергей Леонидович)... Но если Пушкин как-никак «наше всё», даже в метро, то Китс-то как... И как я (задолго до моего личного знакомства с Сергеем Леонидовичем в Комарово) ни пытался понять, почему в метро «катается» Китс», — никто мне не ответил, но пусть Китс, как-никак гений, хотя с эскалатора можно усечь только имя автора текста, набранного графологом мелким бесом — не более того... Сергей Леонидович тоже знал об этой «публикации» Китса, но как узнать — в чем переводе эта «Ода к соловью» (и пара других стихотворений Китса, явившиеся пассажирам на фоне боксерских и дамских лайковых перчаток), и любезно попросил меня — переснять на мобильник хоть сколок текста с одного такого щита (просто для справки)... Однако известен прецедент с сыном композитора Василия Павловича Соловьева-Седого, который якобы по суду добился от железнодорожных властей иметь процент от каждодневного исполнения на больших вокзалах т.н. «Гимна Петербурга», сочиненного его батюшкой)... Так я и сделал, и по строкам, которые мне удалось «поймать» на ходу, Сергей Леонидович легко определил, что автор перевода «Оды к воробью» старейший московский лингвист, переводчик из ранней английской лирики А. В. Покидов. И его — одобрил.

Вернувшись домой после моей прекрасной десятидневки, осененной дружбой Сергея Леонидовича (и его окружением), я по электронной почте послал ему в дар копию входного билета в Музей Джона Китса в Лондоне стоимостью 20 центов. Я купил его в 2000 году, когда мне выпало счастье быть в Лондоне и работать в Библиотеке Британского музея. Тамошние мои друзья и коллеги в свободный день пригласили меня посетить «Музей Английского Пушкина» — святое место, где собираются поэты и ученые-лингвисты со всех сторон света в дни памяти рано умершего поэта-гения. Причем, тот билет особый — он предоставлял его владельцу бесплатное посещение жилища Поэта в день его рождения. По получении Сергей Леонидович ответил мне кратко, но я понял, что это его обрадовало (вообще, у меня была мечта — заказать через Музей подлинный билет для Сергея Леонидовича, но я всё откладывал, прямо беда...).

Вот, пожалуй и всё... Остальное, что я мог бы сказать об этом замечательном человеке — борце, поэте-лирике и эрудите, который знал почти весь репертуар русской поэзии. Он, конечно, признавал первенство за Пушкиным: я помню — у нас речь зашла о сказках Пушкина и особенно о «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях». И вот мы дошли до того места, где бедняга король Елисей обращается за помощью к ветру и так далее и заканчивает свое печальное воззвание



к сим силам словами: «Я жених ее...» — вдруг Пушкин вихрем врывается и произносит дающий надежду глагол «Постой...». Сергей Леонидович тут с восторгом встрепенулся, привстал, едва не отбросив костыли, и мы трижды повторили этот монолог, я за Елисея, а Сергей Леонидович — за ветер с гулом и ауканьем... А его Лермонтов, Печорин, Демон... Помню, с каким любопытством мы, два взрослых книгочея, перечитывали письма Белинского к Боткину, удивляясь своему «невежеству», — вы узнаете этот эпизод из чертовой дюжины писем С. Л. ко мне (в приложении). Поверьте, я отнюдь не был близким другом Сергея Леонидовича, отнюдь, — но собеседником меня можно было бы назвать точно... Просто меня интересовало именно его мнение о книгах и о людях, и о стихах — всё, что было необходимо мне для моих скромных старательских потуг и в библиографии и в прозе: я спрашивал, писал, посылал свои вирши-творения, хотя знал, что ему трудно читать и отвечать часто и помногу, что он дорожит каждым днем и каждым вздохом, надо быть начеку... В прошлом году, в августе, мы вновь повстречались в Комарово, в Доме отдыха Союза театральных деятелей, но его и мой календарь не сошлись, нам досталось от силы дня три-четыре, из которых два дня он почти не выходил из номера на свет, а тут пошли дожди... В последний вечер, 9 августа 2016 года Сергей Леонидович подарил мне на память миниатюрный сборничек «Сонеты Джона Китса» в собственном

переводе с трогательной надписью. Но воистину «*non multa, sed multum*» (немного, но многое): ибо в этом сборнике (такая энциклопедия «Китс в России») помимо стихотворных текстов вы найдете собранную им «в один кулак» почти всю библиографию трудов Китса, летопись переводов Дж. Китса на русский язык с 1895 года по сейчас, биографический очерк и так далее, вплоть до названий трудов о Китсе и английской поэзии его, написанные отечественными учеными — филологами и историками литературы.

И вот последняя встреча с Сергеем Леонидовичем. Она была полна печали и радости, радости и печали. И всё в том же Комарово. И можно сейчас сказать — почти на днях, то есть 19 августа... И хотя она была краткой, всего-то час с полтиной, но, повторяю, полна радушия, взаимных приветствий и обмена новостями, но вид, внешний вид Сергея Леонидовича был, что называется, неважнецкий, моя жена это заметила раньше меня... Но вернусь — к радости, обуявшей нас обоих, ибо была ознаменована веселым обещанием Сергея Леонидовича написать по моей просьбе стихотворение под названием «Ода к воробью». История простая: как говорилось раньше в газетах, «идя на встречу пожеланиям трудящихся» — то есть пожеланиям читателей, воспрянувших духом и чувством жизни от чтения книги про истории чертовой дюжины моих старых пальто (С. Л. приветствовал эту книгу, см. выше), я решил откликнуться на это пожелание,

на этот призыв и написать новую книгу обо всех остальных сбывшихся и несбывшихся моих пальто, шляпах и тому подобной житейской согревающей душу мишуры, но непременно — ленинградского пошива и пошиба... А в спутники свои взять обыкновенного серого дворового вороватого, в лохмах, трамвайного воробья — символа моих невских и садовых окраин, самая лирическая и самая ранимая хрупкая и самая нежная примета нашего города... То есть сшить прозу будущую мою — все эти шубы, шапки, рукавицы и блузы на воробьином пуху, с обязательным путешествием в лоно петербургской литературы (тем более, как весело и всерьез заметил Сергей Леонидович — и правда, Евгений Борисович, что-то воробьев стало меньше в городе, они покидают нас, это опасный прецедент, надо срочно что-то делать, спасать надо). Зато есть Китс! Ведь его «Ода...» о том же: она написана Джоном в ответ тем, кто вырубил неподалеку от его дома целую соловьиную рощу... И вот я тут же, «не отходя от кассы» (это был предобеденный час), на скамье под хилым солнышком у той же аляповатой балюстрады с разлапыми, битыми по краям вазами смело так попросил, вернее сказать, заказал Сергею Леонидовичу новый, заново, своими словами, своим талантом переводчика и поэта (своим пером гусиным) перевод этого шедевра Джона Китса. Ответ его был весел и прост: не возьмусь, мол, не тот возраст, если бы мне было 25, как Джону, — это было

бы точнее, или, как мы говорили в молодости (в вашей книге есть такой пассаж), — в масть, а сейчас коллеги не поймут, тут надо соблюсти всё до нитки, я тогда не решился, а теперь поздно, а как название книги, идея и решение ваши — блестящие...

Но я не отступал, почуяв, что всё «воробьиное» ему сильно пришлось по душе (мы тут по старой памяти наперечет стали искать поэтические строки, где воробьи «с холодком» (Мандельштам) буквально скачут с ветки на ветку...). Мне даже показалось, что на ветерке мы как-то растрепались своей домашней одеждой и скудными вихрами и стали оба два чуть похожи на серых воробьев... Нет, помилуйте, перевода не будет, сказал Сергей Леонидович и, услышав в окно, что его зовут, начал собираться уходить к обеде... А вот стихотворение такое напишу обязательно, обещаю, сказал он! Ждите скоро и обрящете... И пожал мне руку. И уже в дверях Сергей Леонидович вдруг эдак молодцевато развернулся (крутанулся) на костылях, поправил очки, попросил меня на миг остановиться и снял меня на свой мобильник — на фоне дурацкой алебастровой клумбы и еле видных вдалеке очертаний той нашей беседки...

И буквально вечером, накануне печального известия, пришедшего ко мне неожиданно и совсем даже со стороны, из-за бугра, я в свой блокнот записал задание на завтра — позвонить С. Л. с вопросом, как идет наша «Ода к воробью»...

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Из писем С. Л. Сухарева

1

*7 августа 2014. Комарово*

Дорогой Евгений Борисович, спасибо за фото.

Пишу коротко, хотя без со-БЕСЕДНИКОВ здешняя жизнь заметно оскудела.

Интернет у меня тут шаткий и валкий, включается ненадолго.

Перевод 66-го сонета Коли Голя мне давно известен.

Думаю, один из самых удачных.

Ваш вопрос меня смутил своей очевидностью.

Не знаю, откуда взялся «СЫСОЙ ПСОИЧЬ», но стряпчий Сысой Псоич Рисположенский запомнился мне с детства благодаря сакраментальной фразе «Я, Аграфена Кондратьевна, рюмочку выпью» — по телевизионной версии пьесы «Свои люди — сочтёмся» (тогда ещё не прочитанной).

Всего доброго!

*20 августа 2014, СПб.*

Дорогой Евгений Борисович, я наконец вернулся к насиженному монитору — и взялся было разгрести завалы, но тут меня настигло внезапное обострение невралгии в правом боку: отличное оправдание праздности (которой, впрочем, в благодатном Комарово и без того было предостаточно).

С интересом читаю Вашу публикацию Николая Набокова — тем более что тоже равнодушен к Прокофьеву. Пересмотрел и Вашу «чуковину» — интересно.

Подпись к шедевральному снимку в беседке напрашивается сама собой: в подражание Виктору Гюго — «Труженики бутылки».

Прилагаю фото, но есть дубль более интересный — с падающей на нас тенью Дианы как фотографа.

Ваш — СЛ.

Добрый вечер, Евгений Борисович!

Благодарю за присланный билет: увы, до Китса мне теперь далеко... Кстати, не посмотрели том его писем в моём исполнении? Эпистолярный жанр меня по-прежнему привлекает, а письмами Белинского Вы меня попросту заворожили. Пытаюсь найти в Сети, но тщетно.

Впрочем, кого не тронут такие вот признания:

*В. Г. Белинский — В. П. Боткину (22 января 1840 г.):*

«Дай мне написать в год три статьи, дай каждую обработать, переделать — ручаюсь, что будет стоить прочтения, будет стоить даже перевода на иностранный язык, в доказательство, что и на Руси кое-что понимают и умеют человечески говорить; хорошо какому-нибудь Рётшеру издать в год брошюрку, много две. А тут напишешь 5 полулистов, да и шлешь в типографию, а прочие дуешь, как Бог велит, а тут еще Краевский стоит с палкою да погоняет. Впрочем, и то сказать, без этой палки я не написал бы никогда ни строки: вот разгадка, почему твоя натура кажется непроезжающею и ты считаешь себя неспособным к журнальной работе. Останься журнальная работа единственным средством к твоему существованию, ты писал бы не меньше меня и не удивился бы своей способности писать. Так созданы люди. Пушкин был великий поэт, но и вполнину не написал бы столько,

если бы родился миллионером и не знал, что такое не иметь иногда в кармане гроша».

В. Г. Белинский — В. П. Боткину (27–28 июня 1841 г.):

«...у меня много самолюбия, которое искало себе выхода; я только понимал, что для царской службы не гожусь, в ученые также и что мне один путь. Будь я обеспечен, как ты, и притом прикован к какому-нибудь внешнему делу, как ты, — подобно тебе, я изредка делал бы набег на журналы; но бедность развила во мне энергию бумагомарания и заставила втянуться и погрязнуть по уши в вонючей тине расейской словесности. Дай мне 5000 годового и бес трудового дохода — и в русской жизни стало бы одним фактом меньше».

В. Г. Белинский — В. П. Боткину (4–8 ноября 1847 г.):

«...У Краевского я писал даже об азбуках, песенниках, гадательных книжках, поздравительных стихах швейцаров клубов (право!), о книгах о клопах, наконец, о немецких книгах, в которых я не умел перевести даже заглавия; писал об архитектуре, о которой я столько же знаю, сколько об искусстве плести кружева. Он меня сделал не только чернорабочим, водовозною лошадей, но и шарлатаном, который судит о том, в чем не смыслит ни малейшего толку».

Полагаю, вот эта статья Вам давно известна:

<http://www.portal-slovo.ru/history/39069.php>

С началом осени Вас — лучшего времени года!

Ваш — Дронтофил.



4

*29 ноября 2014, 17:22, СПб.*

Благодарю, Евгений Борисович, за присылку нескольких сонетов Шекспира в переводе Коли Голя. Повторю, что выполнены они на высочайшем уровне. Читаются свежо и современно. Спасибо!

Всего Вам доброго! —

— СЛ.

5

*30 апреля 2016, СПб.*

Дорогой Евгений Борисович, премного признателен за присланное произведение. Прочитаю пристально — и с предельной предрасположенностью. Джойсу, это верно, свойственна была необщительность с попутчиками (возможно, по вине подслеповатости).

Думаю, Вам памятен также и другой сходный случай, когда 22 сентября 1926 года он поехал на поле битвы при Ватерлоо на одном и том же экскурсионном автобусе вместе с Томасом Вулфом, однако, знакомство так и не состоялось. Впрочем, Вулф Джойсу, скорее всего, не был известен (как начинающий литератор), а сам Вулф по молодости лет не решился заговорить с мэтром. С приятственностью припоминаю позапрошлогодние посиделки. Примите поздравления с предстоящими первомайскими празднествами!

Ваш — СЛ.

6

*30 апреля 2016, 21:11*

Евгений Борисович, Вашу просьбу выполнить не смогу: но при ближайшем телефонном разговоре с ним сообщу о Вашей статье. Ваш — СЛ.

P. S. Ваш недавний очерк о «Тараканище» я тоже читал...

И — позвольте запоздало поздравить Вас с Вашим юбилеем, пожелать новых удач!

7

*9 августа 2016*

*СПб.*

Дорогой Евгений Борисович, мы благополучно прибыли к пенатам и к перу.

Спасибо за участие. Даниэль Орлов написал так: «С начала июня я в Комарово ни ногой. Там сплошная литература и алкоголизм».

Подмечено верно. Ваш — СЛ.

Дорогой Евгений Борисович,  
спасибо большое за письмо, за все ссылки и за щедрое Ваше ко мне внимание. У монитора постепенно разбираюсь со всем тем, что накопилось за время моего отсутствия.

Буду рад всем новым от Вас поступлениям, хотя не могу обещать адекватный отклик на каждое.

Про Дельвига и Кюхлю очень интересно будет почитать.

Диана по прибытии после обеда отправилась на уфимский поезд, а мы с Людой [Людмилой Юрьевой] занялись домашними делами и взаимным редактированием. Сейчас она просматривает мой перевод рассказа Уэллса «The Stolen Body».

На улицу ещё не выходил: из номера 111 это было проще... Лечащий врач давно внушает, что «с таким дыханием не живут». Мне неловко столь упорно ставить под сомнение его профессиональную компетентность, да вот как-то так...

Надеюсь, Вы успешно отдохнёте и вдоволь поработаете. Большой привет Вашей супруге.

Ваш — СЛ.

*19 августа 2016, 15:21, СПб.*

Дорогой Евгений Борисович, ошеломили Вы меня этим очень скорбным известием... Всегда первый вопрос: ну как же так, это невозможно — и уже непоправимо?! С Игнатием Михайловичем мы время от времени перезванивались — и это было настоящей отдушиной. Слушал, как он читал свои стихи, затаив дыхание (которого и так с гулькин нос). Какой замечательный, цельный был человек — и переводчик от Бога! Царствие ему Небесное!

Но родился он всё же 1 апреля 1932 — то есть, 84 года исполнилось.

Если можно, сообщите, пожалуйста, дату его кончины. Мой телефонный список неумолимо сокращается. Надеюсь, Вы хорошо провели остаток дней в Комарово. Мне там всё было не то и не так — по сравнению с любимым и намолённым ДТП. Лучшее воспоминание — поездка с племянницей Дарьей на залив, где я не бывал с 1997-го года. Выиграла душа старого пирата — и я, естественно, глядя на укрощённую стихию, пил ром. Сегодня вот великий и любимый праздник: наверное, и Вы наверняка тоже вспоминаете «лазурь Преображенскую». Диана сразу же отбыла в Уфу, а мы с Людой заняты домашней рутинной и взаимной правкой.

Привет Вашей супруге (простите, не запомнил имя-отчество).

Ваш — СЛ.

10

24 сентября 2016  
СПб.

Добрый день, Евгений Борисович!

Спасибо за присланную ссылку. Помнится, Вас интересовало стихотворение Верлена – и мы обсуждали последнюю ударную строчку. Я же вот сейчас обнаружил в Сети очередной новый перевод.

Не очень уверен, что «письменность» годится...

Всего доброго!

Ваш – СЛ.

11

12 января, 21:49 2017  
СПб.

Дорогой Евгений Борисович, сердечно благодарен Вам за память и обещанный щедрый подарок.

Конечно, буду очень рад получить – и почитать, посмотреть... <...>

Лучше не на моё имя, а на имя ЛЮДМИЛЫ ЮРЬЕВНЫ БРИЛОВОЙ.

Надеюсь, не повторится недавний казус с посылкой из Бонна, в которой вместо ежевичной настойки (испарившейся бесследно) обнаружились только осколки бутылки: [https://www.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=10211706465561519&id=1364100729](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10211706465561519&id=1364100729)

И до меня благополучно дойдёт не только переплёт Вашей книги, но и вся она целиком.

К сожалению, с Татьяной Польской не знаком, а вот с Санной Юнг — даже очень (разумеется, заочно) — по её авторской странице на сайте Поэзия.Ру, где до недавнего времени публиковались её талантливые переводы и совершенно замечательные критические разборы, свидетельствующие о незаурядном и основательном филологическом даре.

Мир, как видите, тесен...

Ваш — СЛ.

## 12

Отмщения, государь, отмщенья

*13 февраля, 17:17*

*СПб.*

Добрый день, Евгений Борисович!

Спасибо за письмо. Рад, что помните ... Однако Ваш запрос поставил меня в тупик. Просто не понимаю, чем могу оказаться полезен. Во французском наречии я совсем не силён, поскольку занимался им бегло, по-любительски и очень давно. Впрочем, приведённый Вами подстрочник мне представляется довольно точным. О Жане Ротру к сказанному в Википедии добавить мне нечего: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ротру,\\_Жан](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ротру,_Жан)

Но будет интересно узнать, как Вы истолкуете этот сюжет.

Лермонтов мне очень дорог. Ваш — СЛ.



*Сергей Л. Сухарев и Автор.  
Комарово, Дом отдыха Союза писателей*

Дорогой Евгений Борисович,  
спасибо большое за внимание к моему давнему переводу (ровно 45 лет тому назад — сентябрь 1972, Саулкрасты) и лестную оценку (ценю Вашу гиперболу!).

Вот почему меня тогда никто не надоумил и не пришпорил перевести ВСЕГО Китса, которому тогда я был ровесником?!

Сгоряча, мне кажется, получилось бы неплохо — и даже «Ода соловью» сносно...

Тем более, именно до 1972-го года русские переводы из Китса были единичными.

Поскольку Вас заинтересовал Спенсер, то прилагаю посвящённый ему Китсом сонет, свой перевод и комментарий к нему.

И да: «Подражание Спенсеру» — первое из дошедших до нас стихотворений 18-летнего Китса.

[44]

*John Keats*

*TO SPENSER*

Spenser! a jealous honourer of thine,  
A forester deep in thy midmost trees,  
Did last eve ask my promise to refine  
Some English that might strive thine ear to please.



But, Elfin Poet, 'tis impossible  
For an inhabitant of wintry earth  
To rise like Phoebus with a golden quell,  
Fire-wing'd, and make a morning in his mirth.  
It is impossible to escape from toil  
O' the sudden and receive thy spiriting;  
The flower must drink the nature of the soil  
Before it can put forth its blossoming;  
Be with me in the summer days and I  
Will for thine honour and his pleasure try.  
1818/1848

Подстрочный перевод:

Спенсер! твой ревностный поклонник, лесничий из глубины твоих древесных зарослей, прошлым вечером испросил у меня обещания отточить частичку английского языка с тем, чтобы попытаться порадовать твой слух. Но, сказочник-поэт, невозможно обитателю земли, полной зимнего холода, взмыть, подобно Фебу, обладая золотым всемогуществом в огненном оперении, и своей радостью провозвестить наступление утра. Невозможно избежать тяжелого труда и вмиг обрести мощь твоего духа: цветок должен впитать природную влагу из почвы, прежде чем его бутоны смогут распуститься. Будь со мною в летние дни — и тогда я постараюсь ради твоей славы и его удовольствия.

*Джон Китс*  
*СПЕНСЕРУ*

Твой, Спенсер, почитатель страстный, тьму  
Чащоб твоих хранящий, как лесничий,  
Призвал, в угоду слуху твоему,  
Стиху английскому придать величье.

Но, сказочник-поэт! Нельзя, нет сил  
У обитателя земли холодной  
Взмыть Фэбом в золотом пыланье крыл  
С зарёю утра к радости свободной.  
Нельзя уйти от тяжкого труда  
И духа твоего познать паренье:  
Цветок питает вешняя вода  
Пред тем, как настанёт пора цветенья.

Со мною летом будь: к тебе строку  
Я обращаю, на радость леснику.

(Сергей Сухарев – 1977/1986)

— В кн.: Китс Дж. Стихотворения. Ламия, Изабелла, Канун святой Агнесы и другие стихи. Л.: Наука, 1986 (Лит. памятники). С. 164.

Написан 5 февраля 1818 г. Творчество английского поэта Эдмунда Спенсера (Edmund Spenser; ок. 1552–1599) оказало на Китса огромное влияние. Незавершенная аллегорическая поэма «Королева

фей» произвела на Китса огромное впечатление и, по словам Чарльза Брауна, «пробудила его поэтический гений» (Brown Ch. A. *The Life of John Keats*. Oxford, 1937. P. 42). Первое из сохранившихся произведений Китса — «Подражание Спенсеру» («Imitation of Spenser», 1814) — написано девятистрочной Спенсеровой строфой, широко распространенной в английской поэзии и использовавшейся самим Китсом неоднократно: в частности, в поэме «Канун святой Агнесы» («The Eve of St Agnes», 1819) и незаконченной шуточной поэме «Колпак с бубенцами» («The Cap and Bells», 1820).

Под «лесничим» («a forester»), скорее всего, имеется в виду не Ли Хант (автор сборника стихов «Листва, или Стихотворения оригинальные и переводные» («Foliage; Or, Poems Original and Translated», 1818), а Джон Гамильтон Рейнолдс — страстный поклонник поэзии Спенсера и автор сонетов «Деревья в Шервудском лесу...» («The trees of Sherwood forest are old and good...») и «В накидке линкольнской зеленой...» («With coat of Lincoln green and mantle too...»), посвященных Робину Гуду и опубликованных 21 февраля 1818 г. в журнале «Йеллоу дуорф» («The Yellow Dwarf»). Письмо Китса Рейнолдсу от 3 февраля 1818 г. начинается словами: «Благодарю тебя за присланную пригоршню лесных орехов: вот бы каждый день получать в награду полную корзинку за два пенса» (Letters. Vol. 1. P. 223).

Впрочем, этот сонет свидетельствует о том, что постепенно под влиянием Шекспира и Мильтона притягательная сила фантастического мира поэм Спенсера (отсюда и его определение — «Elfin Poet» — «Поэт Эльфов», по аналогии с «Elfin Knight» — «Рыцарь Эльфов», персонажем поэмы «Королева фей»), отступила для Китса на второй план перед стремлением более глубоко отразить в своем творчестве волновавшие его проблемы соотношения искусства и реальности. Воззвание к имени Спенсера служит поводом для уяснения собственной позиции поэта в переходный для него момент: сонет представляет собой как бы иллюстрацию мысли Китса о необходимости для достижения творческого успеха «самого постепенного созревания духовных сил» (Письмо Джорджу и Тому Китсам от 23–24 января 1818 г. — Letters. Vol. 1. P. 214) на основе впечатлений и переживаний окружающей действительности. Примечательно, что в обращении к Спенсеру Китс, игнорируя созданную тем оригинальную сонетную схему, прибегает к «шекспировской».

Впервые опубликован в 1848. Русские переводы: В. Левик (1975), С. Сухарев (1986), А. Покидов (2005).

— В кн.: Китс Дж. Сонеты. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. С. 254–256.

Вы всё ещё в Комарово?

Привет Дине Григорьевне.

Неизменно Ваш — СЛ.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ,  
ДЖОЙС, ПРУСТ И МАШЕНЬКА  
(Из путешествия по Нью-Йорку)

*Набоковеду Даниле Сергееву*

Дорогая Машенька, Ты только представь, Джеймс Джойс встретился с Прустом всего один раз, и то случайно. Они ехали в одном желтом или в черном такси, как попали в него (чья-то проделка) и откуда куда направляли свои стопы — никто не знает. То ли в Берлин, то ли в Париж, а то ровным счетом — наоборот... Всю дорогу молчали, как будто и незнакомы вовсе (скорее да, чем нет; так, Машенька, в мои детские годы отвечала на мой вопрос «Есть ли на свете бог» моя Мама, твоя Бабушка). Оба — на заднем сиденье, Джойс — справа по ходу движения. Пруст, естественно, слева (тут как говорится, третьего не дано). Бок о бок, плечо в плечо (такси вам не лимузин с винным погребом и душем). Долговязый Джойс был во всем дорожном: парусиновая с пером шляпа (короткие поля, скаут) и в пенсне с притемненными стеклами Улисса, вельветовые брюки Финегана,

как теперь у меня, только у меня в рубчик (твой подарок, Маша), и, кажется, всё! Пруст тоже не ушел далеко. На нем был черный, этакой сковородкой с большую обеденную тарелку сдвинутый чуть набок шерстяной колючий берет Свана с прилипшими к нему то там то сям жухлыми лепестками боярышника и иной подобной живой и полудикой полевой флоры из округа Комбре (такое лоскутное одеяло на макушке) и в тесной выгоревшей на провансальском солнце блузе в цветной горошек и с короткими (видно, из экономии) рукавами, из-под которых торчали тонкие кисти его рук с костяшками пальцев в чернилах и в табачной крошке. Роднило их только одно: оба при вязаном галстук бабочкой на резинке, только у Марсея — карнавального цвета, у Джойса — фишашки... Всё так бы и шло себе, Машенька. Но вот вдруг зачем-то (в тесноте — не в обиде) Джеймс Джойс открыл свое окно, Пруст машинально — свое (или — наоборот, кто первый — неважно пока), получилась ни к селу ни к городу довольно противный сквозняк, тем более что шофер гнал свою «кобылу», и ветер вперемешку с листвой, тротуарной пылью, шумами шин, говорком улиц и прочими признаками жизни стремительно ворвался к ним в кабину и принялся там гулять, нарушив сложившееся в кабине status quo. Джойс лишь что-то буркнул дублинское себе под нос, Пруст — машинально себе, сложив руки на острые колени и будто даже — задремал

(как-никак на пару десятков лет старше Джойса). Машина дала резко вправо (или — влево), ветер хлынул прямо в лицо Джойсу, и он уже был готов чихнуть прямо в рыжий с красным затылок шофера, но быстро справился. Лето было в разгаре, на тротуарах и мостовых после дождя смолюю блестел словно выглаженный гигантским утюгом асфальт, разлапая сирень (в Париже или в Берлине) в мигающих рассеянным светом и тенью прогалинах играла откуда ни возмись солнечными зайчиками: то ли в окнах крепких, плечистых, серого угрюмого камня фасадов доходных домов, стоящих в струнку вдоль вековых лип на Фридрихтрассе, то ли в серебристо-сиреневых фужерах на тонких ножках с аперитивом, то ли в тарелочках с горячими каштанами на подносах гарсонов, искусно фланирующих с этой поклажей на вытянутых руках между столиками прямо над головами зевак и завсегдатаев кафе в Люксембургском саду. Там и там царила полуденная дымка. Веерно и бесшумно на теплом ветерке падали к ногам и за воротники горожан обеих столиц надменной Европы (которая так пока и не закатилась, по назойливому предсказанию Шпенглера) кому белые и сизые лепестки той самой нежной, белой с голубым глазури парижской сирени, а кому — классическая, вся в жилках и прожилочках в глянец — усталая липовая листва берлинских окраин и белесый игривой сединой пух. И там и там — мотыльки. Однако вся

эта симфония не в счет, оба невольных соседа, оба седока и их шофер и в ус не дуют или, сказать точнее, «держат марку». Но вот впереди — вокзал (или — станция метро). Шофер машинально сбавил скорость, приближаясь к стоянке (будто знал, что писатели — романисты больше всего на свете любят вокзалы и поезда), и оказался прав. Первым решил покинуть невольное узилище Джойс. Он дружески дал знак шоферу (дружески — ибо поросль на его затылке, как было сказано выше, была цвета самых породистых красных ирландских сеттеров и национальных цветов пабов Дублина) и стремительно по-спортивному (велосипед — коронный транспорт скаута) выбрался на свет божий, распрямил косточки, поправил съехавшую было набок фисташковый галстук-бабочку, вынул из висевшего на ремешке кожаного мешочка кресало, трубочку с табачком и уже через минуту-другую, сладко затянувшись, выпустил в атмосферу привокзальной площади первые привольные колечки душистого табака: жизнь прекрасна... Но вот ужас, Машенька, несколько этих самых голубовато-дымчатых веселых колец-колекчек один за другим этакой живописной спиралью по ветерку топ-топ-топ скопом полетели в кабину такси с оставшимся там задремавшим было на своем месте великим провидцем стариком Марселем Прустом... Джойс был сильно смущен таким кульбитом и, сложившись чуть ли не вчетверо, сунул нос



в кабину и начал что-то бормотать извинительное... Но Пруст даже глазом не моргнул (оба гения — курильщики, не в том суть «момента»), улучив паузу, как только Джойс перестал бесполезно махать руками, пытаясь развеять гиблые останки сизого тумана, вылез наружу. Марсель стащил со своей макушки берет-сковороду и тонкими пальцами в чернильных пятнах и табачном крошеве принялся кропотливо медленно снимать с его мохнатой поверхности роем прилипшие сухие лепестки сирени, жимолости, шиповника, крылышки мотыльков, бабочек, божьих коровок, поблекшие останки поседевшего дикого клевера, душистого горошка и тому подобный вздор (что я говорю, не вздор, а сор, да-да, Машенька, это был тот самый «сор», откуда, по заповедным словам Анны Ахматовой, «идут стихи, не ведая стыда», написанная-таки Пруста) и почти каждое в отдельности крылышко, соринку-пылинку-травинку и пр. подносил к губам и с воздушным поцелуем на прощанье (а зачем иначе) выпускал на вольный ветер привокзальной площади. Но и Джойс, Машенька, не был бы вправду великим Джойсом, если бы не понял и не оценил особенного смысла этой фантастической гениальной метафоры, изобретенной французским гением Пруста. Он, как жонглер на арене цирка или как теннисист на корте, завертелся над этой арлекинадой, заполонившей, казалось, с полнеба в попытке

поймать хоть частичку, хоть тычинку, сухую травинку, колючий стебелек можжевельника или корявый корешок татарника, короче — хоть что (узнал-таки, я думаю, наконец бродяга Джойс в этом густо-чернобровом с пробитым сединой пробором пожилым французе автора романов об утраченном и обретенном времени и девушках в цвету)... И счастье привалило Улиссу: один остроконечный, желто-коричневый с малиновым отсветом по краям и еще почти живой крохотный листок дикого полевого подорожника мирно (как будто чуть зазевался) сел ему на шляпу. И там на секунду-другую до нового порыва ветра — замер. Джеймс, дабы не спугнуть фортуны, бережно снял шляпу и, поклонившись вслед уже укатившему с Марселем такси, двумя пальцами ухватил бесценную поклажу и столь же бережно, почти не дыша, уложил ее в самый потайной кармашек портмоне. Теперь он в Музее. ...Как скажем, навскидку:

волшебное гусиное перо

Гете

подарок Жуковского

Пушкину

тюлевый абажур от настольной лампы Тургенева  
из Спасского-Лутовинова

брошь и булавка

Полины Виардо

обрывок прощального письма  
и Евангелие покинутой жены Герцена  
Наталии Захарьиной  
вытертый ломберный жетон  
Достоевского  
и гребешок  
Анны Григорьевны  
с двумя нечаянно  
ею же  
(вот грех-то был, ведь подарок мужа на свадьбу)  
          сломанными зубчиками  
туфелька Анны Павловой  
кольцо Бальзака от Море  
          (Апраксин Двор угол Садовой»)  
          для госпожи Ганской  
отравленная туника  
Гумилева и его  
крокодиловой кожи портсигар  
сохраненный в ГУЛАГе  
поэтессой Идой Наппельбаум  
перышки от шляпки  
Арбениной фон-Гильдебрант;  
пуговица от холодного пальто  
          Надсона  
грубая холщевая блуза  
и  
толстовка и  
отдельно —

(в другом Музее) румяный сапожок  
ручной работы  
Льва Толстого  
дужка от очков и сахалинская фляга  
Чехова  
«гишпанская» шаль и кимоно Анны Ахматовой  
брызги шампанского  
Игоря Северянина  
живая кусачая блоха — недотыкомка Сологуба  
ярославская косоворотка и кашне  
поэта  
Михаила Кузмина  
запонки сандалового дерева с анаграммой  
    «поэт К. Б.» и египетские чуни  
Бальмонта  
пробковый шлем Киплинга  
трость с борзой на запястье  
Сергея Рахманинова  
переданная Михаилу Чехову  
в Голливуде  
рейсшина и циркуль писателя — корабела  
    Евгения Замятина  
посмертный окурок  
Александра Блока  
телефонная книжка с вырванными страничками  
Зоценко  
тенишевский брелок — значок  
Осипа Мандельштама

серый в крапинку твидовый пиджак  
галстук, бабочка,  
сачок — рампетка шахматы и ботинки  
со шнурками  
Владимира Набокова  
и миллионом подобно мишуры

и так далее

и

так далее

и

так далее

— как любил заканчивать скороговоркой, этакой пу-  
леметной очередью на полуслове Иосиф Бродский  
лекцию о Баратынском или Осипе Мандельштаме  
(перехватывало дыхание от восхищения и зависти).

Но вся штука в том, что ни Пруст, ни Джойс,  
каждый со своей колокольни даже не вспомнили об  
этом randevu (с Марсея нечего взять, он просто взял  
и умер в 22, но Джойс-то его пережил почти на 20 лет,  
а туда же...). Разве что тот шофер с красно-рыжим  
затылком мог, да и тот бяка, смолчал (правда, так-  
систы чисто по жизни не могут упомнить всех своих  
пассажиров, кроме тех, кто не платит, дерется, лезет  
под колеса, а тут совсем смирные, вроде сели вместе,  
а как чужие), но у него чистое алиби — сквозняк

(вот ключевое слово — поводырь), то есть вся эта ку-терьма (с табачным дымом и карнавалом откуда ни возьмишь жухлой пыли в кабине и вовне, заляпавшей ему смотровое стекло), благодаря которой он сильно так разволновался и, не приведи бог, простыл, зашмыгал носом (скорее да, чем нет, если всё остальное — чистая правда) и, просто-напросто высадив (через пару-тройку кварталов) второго пассажира (Пруста) у каменистого порога ближайшего Костела (или католической Церкви, или Храма; в этих городах, Машенька, они на каждом шагу, их куча мала и все действуют) и тут же позабыв всё на свете, поспешил домой, поставил на прикол под окнами свою кормилицу и целых два битых дня «проболел» (провалялся) в кругу семьи с книжками на диване.

«Так-то оно так...» — как с укоризной и сомнением говаривал, встречая гостей, подняв палец к небесам, один из героев гоголевской «Женитьбы», но то, что не довелось сделать тем троим лентяям, усек и сохранил на века (для истории мировой литературы) Владимир Набоков (Вл. Сирин), хотя не был и не мог быть его живым свидетелем. Так, в письме к жене от 24 февраля 1936 года из Парижа в Берлин он сделал такую запись (цитата): «Джойс встретился с Прустом лишь однажды, и то случайно. Они ехали в одном такси. Джойс закрыл окно, а Пруст его открыл, после чего они едва не поссорились. В общем, тоска...

Абстрактные каламбуры, глагольный маскарад, тени слов, болезни слов...»

Вот и весь сказ (вот вам, товарищи господа биографы, и карты в руки: пишите, рядите, ищите великие смыслы в этом литературном путешествии двух гениев), но отнюдь не вся сказочка. Для начала, вернемся к письму и прочтем всю кромешную тираду Набокова до конца: «...в результате остроумие закатывается за смысл, и пока оно медленно движется к закату, небо потрясающе красиво, но потом наступает ночь». Не слабо, не правда ли, звучит уничтожающе... Но Набоков (а мы нынче много чего о нем знаем, с ретушью и без; есть даже наука «набоковедение» подобно науке о Булгакове, гении Платонова, Данииле Хармсе, Гумилеве... и она процветает, и быть по сему: Набоков — огромное соблазнительное пространство, всем места хватит) не был бы Набоковым, если бы именно к этому вполне реально имеющему место быть факту (решительно, надо полагать, пока!!! ничего не решающего в судьбах и творчестве Пруста и Джойса) не дал себе разгуляться, ежели б он лишил себя возможности покуражиться, подпустив к сему почти телеграфному тексту словесного яду, дымку, иронии, отсебятины, не снизил всё на градус ниже, однако, (повторим) он не стоял даже близко к той машине, не открывал дверцы, помогая втиснуться обоим мэтрам в кабину, не «видел теней слов», не пробавлялся с ними «каламбурами» (на что, сказывают, Набоков

был великий мастер) до заката и уж тем более не мог слышать их перебранки и игрой с окнами, попутным ветром и пылью (невзирая на то, что был необыкновенно зорек от природы и «оттопырен ушами» со школьной скамьи) и вообще был не там — географически. То есть, надо понимать, вся лирика с чужих слов, сплетня завидующих литераторов-поденщиков, байка болтливых репортеров, ожидающих приема в гардеробной редакции берлинского «Руля», где поэт Вл. Сирин был постоянным автором, благо отец один из главных редакторов). С другой стороны, было бы ошибкой весь этот «глагольный маскарад» (больше относящийся к нему самому) отнести (просто отдать на откуп) больному самолюбию, ревности и тому подобным (не самым светлым) чертам характера Набокова, действительно частенько проявлявшим себя в отношении братьев писателей (кроме кучки друзей и однокашников), да и просто как к писателю-одиночке (одинокому бизону)... Нет, нет и нет, здесь всё, что называется, «по делу», не лиха хватил Сирин, а наоборот, мог бы и похлеще и покруче вдарить... Дело в том, что буквально накануне столь ожидаемое, столь чаемое Набоковым личное свидание с великим стариком Джойсом в Париже по какой-то пустяковой невразумительной причине и безалаберности его друзей — французов или кого-то еще стороннего-постороннего *о т м е н е н а* (курсив наш!) и впредь (биографы скажут подробнее и точнее,



не в том суть момента) не может состояться (Джойс, кажись, вот-вот покидает Париж, Сирина уматывается к жене и к сыну в Берлин, в мире беспокойно, надо быть ближе к семьям)... Ну, скажите на милость, разве нет здесь причины досадовать, раздражаться и кусать кулаки (да и не только Набокову, любому писателю на сто рангов ниже). Но скажу больше (внимание, внимание, внимание) — в этой утраченной встрече с Джойсом Набоков видел себя (держал) рядом с ним не иначе и не больше — не меньше как за Пруста и не молчаливым собеседником, а на равных и (утверждаю) имел все права на эту претензию хоть на миг, которому не суждено повториться. Вот смотрите: к 1936 году в багаже Набокова-Сирина, в его «послужном списке» было аж семь романов. И каждый — событие, нарушающее спокойствие, и не только в русском мире. Особенно после того, как на прилавки Европы вынесен свеженький, вот-вот покинувший печатный станок Ульштейна (уже заранее объявленный и частично печатаемый в русской периодике) роман «Приглашение на казнь». Теперь-то уж вся наиболее авторитетная критика и публицистика настойчиво упрямо (и — назойливо) дошла в своей похвальбе до пароксизма и видит в писаниях Владимира Сирина прямого преемника Джойса и Пруста (можно даже вместо «и» дать тире) и в первую голову только их двоих (как сиамских близнецов, разве что меняя местами)...



NOBELPRISET

The Nobel Prize



THE NOBEL FOUNDATION and THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES  
requests the pleasure of the company of

*Mr Evgeny Belodubrovsky*

at a reception on Wednesday, December 9 2015, between 18.00–20.00  
in honour of the 2015 Nobel Laureates

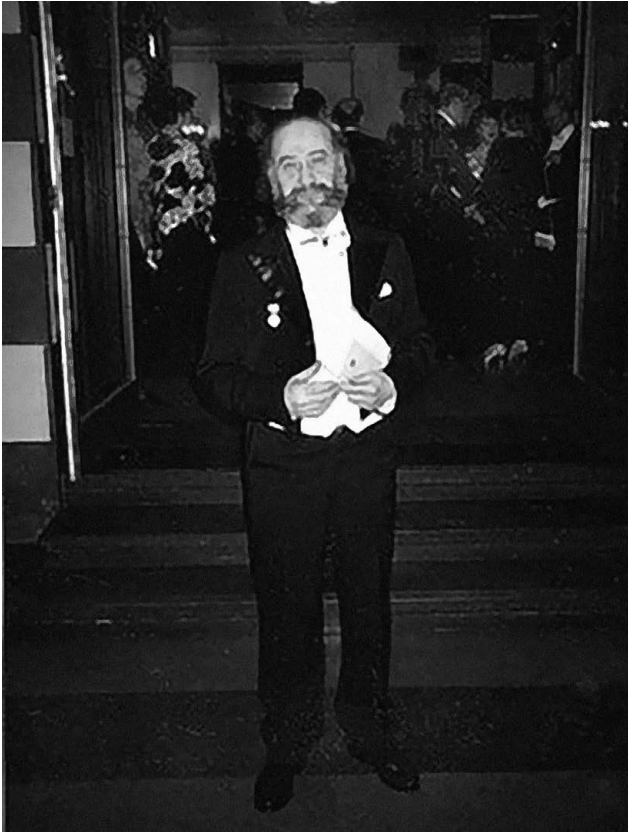
Address: Nordic Museum, Djurgårdsvägen 6–16, Stockholm

This card and proof of identification must be presented on arrival

Dresscode: Business attire

R.S.V.P. latest on December 1 to: +46 (0)8 663 09 20 or [mottagnings9december@nobel.se](mailto:mottagnings9december@nobel.se)

*Официальное приглашение – его вручал лично в руки  
сотрудник консульства Королевства Швеции  
(кстати, расположенного в Шведском переулке,  
одним концом выходящим на Желябку) с подписью и с датой  
вручения. Уверен на все сто и двести, что ни у кого  
(по крайней мере, на моем Заячьем острове)  
такого документа эпохи – нет!*



*1997 год. Стокгольм. Сити-Халл. Мой второй визит на церемонию (всего было – 7, последний в 2007-м, мой «рекорд Гиннеса»). Уже во фраке, который мне одолжил скрипач Виктор Лесняк из Второго Академического оркестра нашей Филармонии, мой со-товарищ по «Сайгону»; вот случай сердечно поблагодарить друга молодости. В тот год премию по литературе получил итальянский драматург и весельчак Дарио Фо.*

*Автор снимка – мой шведский друг и коллега Бенгдт Янгфельдт*

И только вслед за ними, да и то с оглядкой, называют — Бунина, Алданова, Шмелева, Газданова (эта канитель продолжается и поныне).

Так что, Машенька, Сирина было отчего съехать головой, возомнив себя хоть на часок-другой Марселем Прустом и, повторяю, на равных посудачить (перекинуться) с Джойсом о судьбах мировой литературы и самой Европы. Ан нет, фортуна изменила счастливицу, а нам остается только бить себя в грудь, и печалиться что, из-за этой досадной не-встречи мы навсегда лишены рассказа (живого свидетельства из первых рук) о Джойсе, написанного одним из самых тонких, точных, зорких, цепких и счастливо ревнивых вспоминателей-мемуаристов, каким был Владимир Набоков.

Теперь, Машенька, я должен в двух словах (к сожалению, у меня так не получится) рассказать Тебе (и читателям), зачем весь этот «сыр-бор-сор» и почему я пустился, как сказал бы Набоков, в этот «тусклый путь», да еще прихватив с собой Джойса, Пруста, Набокова и Тебя!

Всё до крайности просто.

В Нью-Йорке на острове «Манхэттен» почти в самом центре на Юнион-Сквер стоит огромный пяти-шестиэтажный книжный магазин-супермаркет (это почти рядом с Домом Альберта, на угол

5 Авеню и 10 улицы) с эскалаторами, лабиринтами лестниц, ресторанами, диванными залами, детскими площадками и так далее, работающий с раннего утра и почти до полуночи. Каждый этаж имеет своё амплуа. Первый — детские книги и игрушки, второй — взрослые книги, классика и прочее, третий — техника и наука, четвертый — ноты, плакаты, карты, афиши, календари, пятый — кинотеатр и мультики. И вот, наконец, шестой, мой любимый... Здесь на полу, на диванах, стульях, скамьях, подоконниках, кто на чем, сидят, едят свое, спят, болтаются, милуются, рисуют друг друга, читают, пишут, ходят из угла, слоняются, говорят про себя и вслух американские люди весьма разнообразной возрастной, социальной и этнографической принадлежности и хватки (как в экспозиции на первом этаже нашего Музея этнографии и антропологии на Площади Искусств, любимое место моей школьной безалаберной жизни), время от времени пробавляясь волонтерским чаем из больших черных термосов с зелеными крышками, стоящих на деревянных лавках посреди зала, как солдаты на вечерней поверке, и у каждого термоса целая живописная баррикада чистых бумажных стаканов и салфеток с анаграммой магазина. Но самое интересное, Машенька, здесь — стены. На них, под самым потолком и почти до середины и по всему периметру на вас снисходительно

(сверху — вниз) смотрят лики (головы) классиков мировой литературы и поэзии — от античности до наших дней, исполненные раскидистой живописной пастелью в стиле «граффити» с обложек устаревших хрестоматий, энциклопедий, открыток, почтовых марок, календарей. И всё в полном беспорядке, без попытки хоть какого-то табеля о рангах, чудо людное, загляденье, причем в таком же броуновском движении «крестословицей» (термин, изобретенный Набоковым) даны, начертаны мелким прыгающим бесом их имена (у кого сбоку, у кого поверх головы, то вкривь, то вкось, то налезая друг на друга, глаза разбегаются и уши вянут...). Вот смотри, Машенька, выглядывает из-за чьей-то спины наш Антон Палыч, зачем-то несправедливо лишенный классического румянца и пенсне на тренькающих дужках, невдалеке Лев Толстой в толстовке и в сапогах через плечо, Шекспир в камзоле, его «неприятель» строгий Бернард Шоу, Хаксли, Оскар Уайльд, Хэм, Акутагава Рюноске, Омар Хайям в тюрбане, Салман Рушди, Мопассан, Мориак...

и

так далее

и

так далее

и

так далее...

Робкие и живые и таким крапом (как колода карт) плечо в плечо, бок о бок, кто в чем и как: в профиль, вполоборота или в анфас, а то и прямо лицом к лицу теснятся и о чем-то шепчутся между собой. А народу праздного вокруг — пруд пруди, во все глаза блуждают глазами, тычат пальцами, гудят, особо ретивые лезут на стенку, поближе, другой приволок откуда-то лесенку и, забравшись на нее, толстым фломастером пририсовывает какой-то даме с узким лицом — усы и пуговичку груди, кто-то фотографирует хохочущую на всю ивановскую компанию под портретом укоризненно смотрящего на мир слепого Гомера.

А вот и наш Набоков с Большой Морской, 47... Правда, сначала усек подпись: «Nabakoff», а потом сам лик. И диву дался: медведь, прямо зверюга, меховая шапка-треух, тулуп, крестьянский нос, пермяк — солены уши, весь коричневый, взгляд горький, сумрачный, угрюмо-тоскливый, смотрит в сторону как с бодуна, узнаваем на все сто, но дворянской косточки ну ни на йоту, шиш... Ничего себе, встретились где, а? (Я же в Нью-Йорке не за здорово живешь; я торчу днями в Публичной библиотеке на 42-й угол и 5-й аве и корплю над рукописями и бумагами именно Набокова — переводчика «Евгения Онегина»). Вижу под боком смурного Набокова седобородого Уитмена, над ним — Шелли,

дальше — длинношеяя Гертруда Стайн с брошью и Хемингуэй с винчестером... Но где же, скажи, Машенька, мои сиамские близнецы, мои пилигримы, неужто пропали, где ж им быть, как не в этой компании (это то же самое, как если бы из Галереи героев 1812 года в Эрмитаже на набережной Невы вдруг выпали Багратион и Барклай — одновременно)? Шарю глазами по стенке, рябь в глазах, толкаюсь, бегаю от портрета к портрету, от угла к углу, от физии к физии как оглашенный (уверен, окружающие празднующиеся меня вполне могли принять за безумца, на мне финский светлый плащ-балахон с вечно болтающимся по полу ремешком, на который все наступают и извиняются; как раз в этот год американский президент своей волей распорядился выпустить небуйных больных из соответственных учреждений — домой)...

И счастье мне привалило: вот они — очкарик Джойс в зеленой шляпке с перышком набекрень; Пруст тоже недалеко ушел, худосочный чернявый (зачем-то в медальоне) с горящим печальным взором и на макушке беретик с помпоном. Правда, далеко-вато, как говорится, днем с огнем не сыщешь...

Вернувшись домой, я рассказал (и показал фотографию панорамы с Набоковым и с Джойсом-Прустом) Наталье Ивановне Толстой, ученой даме, горячей поклоннице Набокова и автору первых



пионерских серьезных статей о его творчестве и биографии. Я тоже был одарен ее дружбой. Слушая мой страстный рассказ и рассматривая снимок, сказала, мол, будь она на месте художника, она бы по справедливости Пруста нарисовала чуть ли не в обнимку с Набоковым и обоих в связке с Джойсом и что, по ее мнению, Набоков — поэт, романист, провидец, художник слова, творец был ближе всех именно к Прусту, боготворил его и внутренне — тоже, хотя отмахивался от него и очень злился, негодовал на близких друзей, критиков и энтузиастов — биографов, зато рядом с Джойсом (в сравнении) чувствовал себя вполне комфортно и горел желанием с ним встретиться и даже возможность такая была, но не случилось. И добавила: если Вам интересен этот сюжет (а он стоит того), о нем глухо и осторожно упоминает Бойд в своей попытке биографии Набокова.

Я всё запомнил — до времени.

И такое время — пришло (спустя шесть лет). Я вновь в Нью-Йорке, в выходной, в том же магазине, на шестом этаже. Все на своих местах: медведь Набоков, Шелли, Стайн Гетруда Федоровна (тут, может быть, Машенька, и нет ошибки; ее бабушка вполне могла быть батрачкой из Перми, это же — Америка); кое-кто из бывших шесть лет назад смылся с глаз долой, исчез со стены и на пустых местах

вместо портрета метка-таблетка: «The portrait is removed on restoration», кое-где наметились трещины, прогалины, чистые места... С тревогою ползаю глазами дальше и смотрю: батюшки-светы, праздник, праздник. ...Ба!!! (как Репетилов, увидев Чацкого...), ба, как я сразу не заметил: оба моих гения (два в одном), оба пилигрима избежали-таки restoration: Пруст в своем слегка потускневшем медальоне и сам Джойс в шляпе, очки — мимо. Но благодаря просветам и блошиным пятнам на стене и оскудевшей штукатурке их перетащили на чистое место, нос к носу, к Набокову, свидание состоялось. Я был счастлив:

status quo

восстановлено

что и

требовалось

доказать

и

так далее

и так далее

и так далее.

Одно пока так и остается тайной: о чем они говорят — теперь...



*Чашка с рисунком продается при входе – 5 долларов.  
Автор рисунка на стене под потолком –  
художник-график Гэри Келли (Gary Kelley)*

Ну а потом в том же Нью-Йорке, в Публичной библиотеке, угол 42-й и 5 Аве, я открыл биографию Набокова Брайана Бойда. Отыскал выписку из письма Набокова к жене от 24 февраля 1936 года, и пошло-поехало: Привокзальная площадь (то ли в Париже, то ли в Берлине), цветущее небо, сирень, такси, мотыльки, утварь, Пруст в берете, рукава его манишки, Джойс в очках, лакированные стальные ручки для поднятия стекол в кабине, подушки сидений, сквозняк, затылок шофера (назовем его — Даниэль Дефо), ветер в Люксембургском саду, стриженный газон на Унтер дер Линден, газонокосилка фирмы «Bosch», повсюду яркий цвет боярышника, дождь, оселок в заднем кармашке Джойса (откуда я взял это вообще, бог весть, но красиво), бегущий ирландский сеттер красной масти, лучики и солнечные зайчики, прыгающие из прогалин аллей то ли Берлина, то ли Парижа (третьего не дано по летописям их биографий на тот миг жизни), и наконец вот он — карнавал целебных трав и мишуры, якобы затеянный Прустом, ловкость скаута и догадка великого Джойса (и моя, кстати)

и

так далее и так далее

и так далее —

довели всю эту картину до абсолютной подлинности и реальности...

1993–2017

## БЕСКОЗЫРКА

*Старшему брату Анатолию*

### *Зачин*

...У каждого «свой» Чуковский, как «свой» Пушкин или Булгаков. Но моя личная жизнь: юная, совсем детская, мальчиковая, солдатская, а нынче — совсем уж взрослая, жизнь учёного-библиографа и книгочея-старателя — уж точно без присутствия в ней Корнея Ивановича Чуковского была бы и цветом в сто раз бледнее, и умом — короче, и устремленьями — уже...

### *«Мурзилка»*

...Моя начальная школа была на Невском. Она называлась «Петершуле» и славилась в городе не только своим «седым» возрастом (она была основана аж в 1704 году) и выпускниками (среди которых, навскидку, современники: поэт Даниил Хармс, «золотой» боксёр Геннадий Шатков и актёр из актёров — Михаил Михайлович Козаков), но ещё и своим великолепным старинным светлым Актовым залом. Большая гостеприимная сцена, чёрного дерева скамьи, орган, мраморный изразцовый камин,

просторный рояль фирмы «Бехштейн», приличная акустика, высоченные окна и люстры. И поэтому в нашей школе в этом зале довольно часто устраивали концерты, ставились спектакли и проводились разного рода общественные мероприятия и сборы. Силами учителей, учащихся и их родителей.

*Была бы честь оказана... а там посмотрим*

В 1954 году наш город готовился отметить 10-летие снятия блокады. И в честь этого действительно великого события был назначен концерт для школ всего микрорайона. От каждого старшего класса (от 6-х до 10-х) требовалось подготовить по одному номеру: песня, стих, сценка, что угодно. В нашем классе это дело было поручено классным начальством — мне любимому: я обязан был сам выбрать любое весёлое стихотворение, выучить его наизусть и исполнить на блокадном концерте. Сейчас уже не вспомнить (так!) «почему я, мне?!» (я был хоть и общителен, но не очень прилежен, не очень усидчив, не так аккуратен, совсем не отличник, и к тому же страшно картавил, шепелявил и боялся собак и кошек). Одно могло быть причиной такого «доверия» — во-первых, у меня был очень громкий голос, а во-вторых, в отличие от большинства моих одноклассников я не был сильно занят ни в каких школьных кружках (исключая, правда, любимый, переплётный), не брал уроки музыки и балетных танцев, не ходил ни в какие спортивные секции.

Всё-всё пришло потом (тогда же я всё больше торчал после уроков целыми днями во дворе и на набережной Мойки «в мечтах и думах» о сокровенном)...

*Итак, стишок!*

...А мы дома получали «Мурзилку», бесплатно, в нагрузку к «Вечёрке», и целыми годами. Мама их бережно и исправно подшивала толстыми шнурками вместе с газетами, и эти готовые «подшивки» служили нам не только постоянным чтивом и рассматриванием весёлых картинок, но и одновременно по хозяйству: то грузом, то мягкой подстилкой, то подставкой, то горкой, то ещё чем-то. От всего этого старые подшивки «Мурзилки» совсем растрепались, любимые картинки поблекли и стёрлись, им постоянно требовался срочный «ремонт» при помощи ножниц, ниток, клея, папиросной бумаги. Это занятие я любил и умел. И вот в один из таких «рабочих моментов» мне попала выпавшая из подшивки страничка из «Мурзилки», кажется, 1946 года, со стихотворением самого «Корнея-Чуковского-Мойдодыра-Тараканища» под простым, понятным мне названием «Ленинградским детям».

*Ленинградским детям*

...Оно было очень длинное, трудное и какое-то нескладное и ещё — написанное лесенкой, зато в нём были перечислены названия многих стран и городов, одна причудливая «Гаага» чего стоила. Это было

здорово: муза дальних странствий давно уже теребила мою душу, теперь ясно, почему я выбрал именно это стихотворение для предстоящего юбилейного концерта.

...И вот тот день настал, тот январский денёк. 4 часа дня. Концерт. Наш мой любимый (и по сей день) Актальный зал. Паркет — до блеска. В зале публика: мамы, папы, разный люд, некоторые с медалями и орденами; один товарищ был даже в бескозырке. По программе я был где-то в конце, после хорового номера девчонок из соседней 217 школы. Пришла моя очередь. Помню, меня скромно объявили: имя, класс, школа, всё как положено. Ну и я, не дослушав до конца свое имя, — крикнул название всё в одно слово: «Корнейчуковскийлениградскимдетям».

*Однако: слово — не воробей,  
кто этого не знает...*

...И начал. Всё пошло как по маслу, тщательно соблюдая рифму и ударения. А на последней репетиции мой старший брат Толька (с детства мечтающий стать актером и не без оснований и уже имеющий «сценический опыт» на школьной сцене) дал мне мудрый совет: «Женька, чтоб не сбиться и не пугнуться публики, сразу выхвати из зала чье-то лицо и читай всё своё читиво как бы ему одному, но лучше заранее, из-за кулис наметь точку и потом «чеши», а если всё не так — «возьми паузу» и замолкни, потом отыщись



и читай дальше, никто и не заметит промашку, мол, все народные артисты так делают»... Я это запомнил и, как вы уже догадались, из-за занавеса «зырил» с полчаса и избрал — «бескозырку». И был — счастлив.

*Это ваши проблемы...*

...Но осталась еще проблема — последние строки этого бессмертного (для нашего брата) стихотворения Корней Иваныча (так!), в котором главное Слово — «блокада»!!! Елы-палы, дык, как она (концовка эта) мне не давалась. Как дойду до этого места — весь пафос куда-то уползал и даже на репетиции дома при Маме и в классе при любимой училке Белле Захаровне Гузман у меня перехватывало дыхание... Я сбивался, чуть не плача, ведь для меня тогда, пускской и 13-летнего малого, и, ручаюсь, для всех-всех в нашем дворе и вокруг (даже для девчонок) всё, что таилось за этим словом, было знакомо. Да и далеко ли, черт возьми, далеко ли тогда ушло от нас то время (не подумайте, что я плакса-вакса, просто слово такое горестное есть в природе и в словаре живущих рядом со мной — и близко...).

*Катарсис и почти конец всей истории*

Но что такое жизнь? Отвечаю незнайкам — жизнь, как говорила тетя Хая, старшенькая сестра моей Мамы, Линочки Кацнельсон, есть — преодоление; я знал этот посыл (и знаю и следую по сей день) чуть

ли не с пеленок. Так вот, чтобы не дать себе слабину перед концом я, по братнему совету, «взял паузу», сделал целый шаг вперед к публике и выпалил слово «блокада», как эпилог всего самого сущего и главного... Потом вернулся посередке и пошел «чесать» дальше строки Корней Ивановича (так!), вперив глаза в того моряка:

*Или тогда же, — в две тысячи двадцать  
четвертом году; —  
На лавочку сядете в Летнем саду.  
Или не в Летнем саду, а в каком-нибудь  
маленьком скверике  
В Новой Зеландии или в Америке,  
— Всюду, куда б ни заехали вы, всюду,  
езде, одинаково,  
Жители Праги, Гааги, Парижа, Чикаго  
и Кракова —  
На вас молчаливо укажут  
И тихо, почтительно скажут:  
«Он был в Ленинграде... во время  
осады...  
В те годы... вы знаете...*

*п а у з а м о я*

*в годы  
... блокады»  
И снимут пред вами шляпы.*

## *Бескозырка с лентами*

Вроде ничего прошло. Не сбился. Пошли хлопки. Поклонился и пошёл себе за кулисы. И вдруг, зуб даю, этот «бескозырка» прыгнул на сцену (мощный такой дядя моряк, длинный как жердь), нагнал меня, схватил довольно больно за рукав и вытащил обратно к публике... Потом вытянулся во весь свой рост, стащил с башки эту свою мятую бескозырку с лентами и якорями и поклонился мне, пацану, в три погибели до самого пола...

*7 септембер 2022*

## ОПУСТЕЛ НАШ САД!!!

Слово к Борису Соломоновичу Кагановичу  
— с подмостков Публичной библиотеки

*Борису Кагановичу*

Все эти дни и недели, как мой давний товарищ, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Владимир Иванович Мажуга сообщил мне о кончине Бориса Соломоновича Кагановича, когда в нас еще жила теплеющая надежда, что вдруг эта новая беспощадная болезнь да минует Бориса Соломоновича и он вернется в наши ряды, совсем погасла — для меня словно померк свет.

Как же так, Боря, ты же должен был жить, должен, обязан...

Смотри, ведь мы, Вы и я, порешили еще в начале той зимы вместе опубликовать одну штуковину и, бо мой, как непросто мне было получить Ваше согласие. Я был счастлив.

Помните наш уговор-разговор? Речь шла об одном обнаруженном мною в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук (СПбФ АРАН — как пишется ныне) на Университетской

набережной (фонд № 726, опись — «разное») неизвестном письме к Ивану Михайловичу Гревсу — автору книги «Тургенев и Италия». Причем прямо на его домашний адрес, что Вас, как биографа Гревса, несколько подивило. В этом письме читатель (как он пишет, «я врач по профессии») неожиданно и с горячностью поддерживает версию Ивана Михайловича в том, что супротив всех слухов в этой среде и в мемуарах современников отношение Ивана Сергеевича к Полине было самым чистым, лишенным какой-либо корысти и близким к платоническому. Но самым примечательным в этом письме было, что подобное отношение к воплощенной любви встречалось и в его врачебной практике, а именно в общении с пациентами. «Насчет Тургенева и Полины это спорно, не скажите, Евгений Борисович, — склонившись ко мне бочком чуть ниже обычного, как бы извиняясь, заметил Борис Соломонович, — но не спорить же с Иваном Михайловичем, нет, не смею... Да, конечно, возможно и так, Полина, муж Луи под боком...» И так далее в таком же тоне: сомнение, сомнение. «...Давайте, мол, посмотрим, — повторяет Борис Соломонович, глядя на меня сквозь очки и держа меня уже примирительно и за самый рукав, — а вот насчет врачебной практики автора письма интересно, да, надо знать о нем побольше, а так — трудно сказать, при чем здесь его медицина. Трудно сказать!»

Эти два слова почти всегда и во все дарованные мне Борисом впредь «многие лета» общения и доверительной дружбы были у него на устах. Как на «на запасном пути». Чему бы ни были посвящены наши разговоры, о чем бы мы ни спорили на перекладных и в Публичке: о книгах, о людях, о литературе, о Чубайсе, о знакомых, о политике, о хворобах... И даже когда мне порой удавалось снять подчистую все сомнения — эти два слова (и близкие к ним по смыслу) оставались за ним (вместе с той же извинительной, склонив голову, чуть уловимой улыбкой).

У Бориса Соломоновича не было кумиров, подобных даже ребячьим, как у меня; людям и миру еще далеко до совершенства. И он, Гуру, это знал лучше других.

«Давайте после чая часика через два обмозгуем», — сказал он.

Так и случилось: мы разбежались по залам. И после трех часов работы и традиционно их завершающей «чайной церемонии» я продолжил заседать. Чутье и опыт старателя подсказывали мне, что в этом новонайденном письме есть «пожива» для публикации, и мне было необходимо «сверить часы» с Борисом Соломоновичем, тем более в нем «замешан» Иван Михайлович Гревс — его герой. И так! Во-первых, я назвал имя автора письма. И кое-что о нем. Алексей Васильевич Ливеровский, военно-морской врач Морского Корпуса, шесть кругосветных плаваний,

капитан-лейтенант в отставке, в 1917 году был избран Морским Собранием Кронштадта делегатом в Учредительное Собрание. На момент письма — патронажный врач одной из ленинградских детских поликлиник (возраст его пациентов от ноля до трех лет). Жена — умерла в 23 году... «Погодите, — перебивает Борис Соломонович, — это ваша Ливеровская, Мария, Гумилев ее называл “Музидора”, переводчица Данте? Вы же о ней писали чуть ли не первым, она, по нашим сведениям, была во “Всемирке” в компании с Алексеевым и Ольденбургом, знала Мандельштама, Блока, Ахматову, женщина — полиглот. Так ведь... Ну и что, что дальше?» А то, добиваю я своего оппонента, что, имея на руках четырех детей, она в 1906 году поступает одной из первых женщин на романо-германское отделение в университет (когда самому старшему сыну было 6 лет) и оканчивает его в 1913 году, первой по выпуску профессора Ф. А. Брауна... Далее — открывает салон, ее друзья — известные нам с Вами «до слёз» тогда молодые приват-доценты Жирмунский, Эйхенбаум, Мочульский, Лозинский, Балухатый... Хороша и в семье и на людях, она своей природной женственностью и живым умом легко и весело располагает всех окружающих... Пишет стихи, поет, музицирует, крутит «романы», есть «жертвы» (один даже кончил собой), разрешает себя любить, позволяет «вольности» и себе, правда, не переступая границ — выпалил я.

«Стоп! Значит, муж в плаванье, а в паузу — нянчит и растит детей. Жене — полная свобода. Может быть, для него это и есть воплощенная любовь. И Флобер. Тургенев знал Флобера. И она не мадам Бовари... Вот в чем, наверное, смысл, то есть он испытал на своей шкуре то, что дадено было пережить Тургеневу. Рядом с Полиной. ... У меня есть Мазон — французское издание, как там у него про любовь и брак...» На третий день Борис Соломонович сам протянул мне руку и — к моей радости — согласился на соавторство, несмотря на увлечение новой темой и плановой — по институту, как служивый. Я отдал ему текст, поделили обязанности — я беру сторону супругов Ливеровских и их деток, университет и салон М. И. Ливеровской. Борис же Соломонович — за Тургенева, Гревса и за Полину Виардо. Загорелись, поставили сроки, застолбили «Вопросы литературы», где Б. С. всегда ждали. Я был счастлив.

И вот он — ушел. Гуру. Мастер. Светило. Мир — померк.

Конечно, были у нас с Борисом сцепки-зацепки по его сюжетам. И даже моменты истины, когда я мог чем-то помочь ему в его исканиях, конкретной ссылкой, источником, а он мне — всё по гамбургскому счету, без кавычек. С лихвой. Из нескольких примеров припоминается история с архивом Онегина-Отто и участие в ней «некоей мадам Ферингер»; Б. С. довелось разбирать ее архив



или что-то в этом роде. Я же как раз в это время занимался биографией профессора Пединститута им. А. И. Герцена Ольги Иеронимовны Капицы (матушки академика П. Л. Капицы) и наезжал в Москву в семью Капиц. ... И однажды, разбирая домашние фотографии, Анна Алексеевна, вдова П. Л., нашла какие-то записки своего отца, академика корабеля А. Н. Крылова, к госпоже Ферингер на французском. Вернувшись в Ленинград, я поведал Борису Соломоновичу. Эхма! Как он был рад с лукавинкой, что это известие подтвердило его догадку: между корабелем и этой дамой могли быть не только деловые отношения. И еще — Борис Соломонович, заядлый франкофил, помог мне через парижских друзей или как-то самолично отыскать в Париже дом, где жила в свои последние годы и умерла в 1976 году возлюбленная Владимира Набокова («парижской ноты») русская поэтесса Ирина Юрьевна Гуаданини, и ее фотографию.

Вот спасибо — так спасибо, дорогой Борис Соломонович! И вот — беда, нет Тебя, нет, не поверить, не смириться.

А познакомились мы как раз-таки в «болярыне» Москве в Рукописном отделе «Ленинки» (вход через Охотный ряд, маленькая заповедная дверь, мать божия, святая святых для нашего брата — литературного старателя). Вход с улицы Фрунзе, которая вновь после 1990-го — Знаменка (сообщено

Г. Г. Суперфином, низкий поклон моему старшему коллеге из Бремена\*). А свахой нашей стала сотрудница ИМЛИ литературовед Женя Иванова (она, боюсь, нынче и не вспомнит этой доброй оказии).

Дело в том, что она и Борис Соломонович были приглашены в большой авторский коллектив историков русской литературы, критиков, источниковедов, архивистов и библиографов-славистов и так далее (коих собрали аж по всему Союзу) для участия в издании биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917» (издательство «Советская энциклопедия»). Особенностью этого грандиозного начинания было включение в его состав, пренебрегая иерархией, табели о рангах и степени известности, (шутка сказать!) более трех с половиной тысяч имен, то есть почти всех служителей российской словесности обоих полов, творивших на этой благородной ниве. И на протяжении всего XIX века (с «поправкой» на март — октябрь 1917 года, включая целый сонм переводчиков и даже отдельных представителей Цензурного Комитета), коим довелось (удалось, случилось) при своей жизни напечатать хоть одно свое лично сочиненное произведение. Пусть это будет стишок или эссе в десяток строк, причем каждая статья должна была всенепременно состоять из архивной справки, названий главных произведений, т.н. «дефиниции» и более-менее существенной библиографии.

Особая статья — обязательный некролог. А это значит — газетный и журнальный фонды, периодика. Короче, каждому автору предстояла большая поисковая работа. А на выходе всего-то ничего: основной текст в 3–4 странички плюс краткая библиография и справочный материал. Исключения только для больших: Чаадаев, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Лев Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Чехов, Блок, Маяковский, Ахматова, Мандельштам, Георгий Иванов. Вот она, славная дюжина (с гаком), тут без ограничений. В этот авторский коллектив был приглашен и я, к тому времени снискавший себе в кругах историков литературы обеих столиц скромное имя как автодидакт, овладевший самостоятельно (исключительно из любви к искусству) опытом архивного и литературного поиска. В основном герои моих занятий были писатели и поэты Серебряного века. А источником (помимо архивов) служили щедрые страницы разношерстной столичной, московской, одесской, киевской, урало-зауральской и провинциальной периодики и «летучих» изданий первых десятилетий XX века... Получаю первый заказ: сестра Н. А. Некрасова — Анна Алексеевна Буткевич.

Вот тебе и «серебряный век» с кисточкой. Одни задворки. Но и сплошь — открытия. Взялся. Полгода работы. Всё почти нашлось путное для статьи, плюс некролог — вот самый сложный, однако, был поиск.

И махнул заказным, то бишь с квитком, прямиком из Главпочтамта (для солидности и куража) в Москву, на Покровку, в издательство. Вскоре получаю ответ — всё, мол, отлично, дебют прошел успешно, статья почти готова, но есть одно обстоятельство, которое нас задерживает. И — далее: «Е. Б., когда Вы в ближайшее время будете в Москве, зайдите в Рукописный отдел Ленинской библиотеки, где для Вас оставлена записка по Вашей Буткевич от историка-медиевиста Бориса Соломоновича Кагановича, который привлекается нами как знаток архивного дела — в особых случаях. И Вам как автору надлежит с этой запиской — ознакомиться. Прошу не тянуть, на днях сдаем на первую верстку букву “Б”». И подпись: Ответственный консультант по архивному обеспечению Словаря — Б. Л. Бессонов.

Что касается последней фамилии — он меня не удивил. Это был мне добро знакомый, самый из самых знаток жизни и творчества Некрасова, штатный сотрудник Пушкинского Дома. В те годы мы частенько встречались с Борисом Лаврентьевичем: то в архивах, то в самом институте, он был в курсе моих потуг и по части освоения периодики, посоветовав завести картотеку. И как я узнал со стороны, он и привел меня в «Словарь». А вот Кагановича я почти не знал, кроме известной в наших кругах его «отставки» или увольнения из московского Историко-архивного института.

И вот я в Москве! В Рукописном отделе на улице Фрунзе. Называю себя и спрашиваю у дежурной за стойкой выдачи рукописей, как и где я могу получить записку, оставленную для меня Борисом Соломоновичем Кагановичем. И вот на этой фразе из читального зала выпорхнула Евгения Иванова и вскрикнула: «Борис Соломонович здесь, в зале, работает». Так вместо той «записки» я заполучил самого Кагановича. Это надо же такому случиться, что Борис Соломонович оказался в тот же день и в тот же час в том же месте, где оказался и я, с другой планеты.

Первое впечатление: серый сивый пиджак таким мешком, высокий большой человек безупречной еврейской наружности (ввек не спутаешь, да и зачем), темные брови кустятся в полном беспорядке. Скромный, немного угловатый; очки, усики под самым носом — под братьев Вавиловых, москвич по выговору (на этот недуг мы, ленинградские, дико падки; впоследствии Б. С., став нашим земляком, с ним справился на все сто). Кстати, почти таким же внешне (да и в некоторых привычках), несмотря на прошедшие десятилетия, Борис Соломонович Каганович остался верен себе: от серых тонов в одежде, в угловатости, в манере здороваться мягким рукопожатием как-то ближе к рукаву, так же слушать собеседника, приклонив к нему близорукую голову, как бы смущаясь своей правоты...

Итак, нас познакомили.

Я спрашиваю о записке, о сути поручения строгого Бессонова. «Вы будете смеяться», — начал Борис Соломонович, тепло, прихватив меня за рукав, как старого знакомого, немного заговорщицки отвел в сторону и поведал обалденную историю. В семейном архиве академика Тарле в Ленинграде, в его папке «всякое и нечто» Б. С. обнаружил странный документ с гербовой печатью Министерства Народного Просвещения. В ней содержалась просьба к самому Императору Александру Второму разрешить повесить портрет поэта Н. А. Некрасова в Игровом зале Английского клуба в Демидовом переулке в Петербурге. Как одного из его почетных членов. И подпись — Анна Буткевич (урожденная Некрасова). «Боря Бессонов, услышав от меня эту историю в издательстве, на ходу, на лестнице — вдруг загорелся внести этот факт в Вашу статью...»

Вот и весь сказ. Может быть, я бы не пустился в этот, по выражению Набокова, «тусклый путь» и не стал бы так широко «размазывать» (термин для графомана — преотличный) и про словарь, и про себя, и про Женю Иванову, да-да, не стал бы, если бы да кабы не та моя личная встреча с ним в Москве на Знаменке, когда Борис Соломонович оказался для меня одним из тех встречных на моем (нашем всешним) міру людей, которых всю жизнь ждешь.

И дождавшись — считаешь как Гуру.

Вот Борис Соломонович в Ленинграде. Обрел кров, семью, прописку, постоянный билет в БАН, в Центральную библиотеку и в Публичку, пропуска в архивы от Института истории, где он уже в штате (по чину и знаниям). И даже — рабочее место. То была, кажется, осень или весна 2001. И вот началось. Первым делом Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина; ничего не имею против этого писателя-классика, наоборот, на сегодня его пророческие губернские очерки, сатирические романы и сказки — необыкновенно современны. Публичка, то бишь ее пороги, подмостки, углы, залы, лестницы, ковровые проходы, коридоры, стенды и каталоги — вот места нашего обитания, вот где нас можно застать за беседой, спором или обменом книг. И так далее и тому подобное. Отдельно следует назвать еще два наших заповедных угла: Рукописный отдел (само собой) и скромный (мал да удал) залчик «Выставка новых поступлений» на лестничной площадке второго этажа (совсем недавно его «перенесли» на задворки Главного (наз. «Универсальный») коврового Читального зала. Как же мы с Борисом Соломоновичем всё не могли привыкнуть к такой перемене мест. Да и не только мы, завсегдаи...).

Ибо Публичка — святилище!

Публичка — Судьба!



*Автор в Рукописном отделе Публички,  
где хранится Архив поэта Даниила Хармса*



Судьба, которая совершенно и буквально на ж и в о повязала нас обоих (по выражению В. А. Жуковского, в один «пук», только ради т. н. status quo у Василия Андреевича — в «пук стихов») святыми именами Н. П. Анциферова, И. М. Гревса, Е. В. Тарле, С. Ф. Ольденбурга, В. М. Алексеева, Ф. И. Щербатского, кельтолога и шахматиста А. А. Смирнова и многих других... И их окружением и творениями!

И вот эти пожизненные «времена» для одного из нас остановились.

Опустел наш сад, проклятая болезнь. Как прав Константин Маркович Азадовский — уход Бориса Кагановича «большая потеря». Повторяю, мы не были закадычными друзьями, не дружили домами, ни пуда, ни соли не ели из одного котелка (правда, мы оба, вполне домашние люди, семейные, любили нехитрую еду, пирожки, чай в нашем буфете; иногда из гардероба напрямиком туда, а уж потом — зачем мы здесь целыми днями «ошиваемся»).

Еще и еще раз: по сути, Библиотека была нашим вторым домом. Так, стоило мне хоть краем глаза заприметить сутуловатую, качающуюся на широких плечах партикулярную фигуру Бориса Соломоновича — и я спокоен, ибо впереди у нас будет встреча. И вот мы уже сидим на мраморном широком подоконнике у высоченных дверей Зала Русского журнального фонда и делимся, делимся, на скорую руку или всерьез, всем, что нас обоих на эту минуту,

час или день, неделю, а то и месяц тронуло... Я был счастлив. Конечно, случалось и обратное (и не так уж редко), когда сам Борис Соломонович находил меня, делал мне знак отложить свои книги и занятия для серьезного обмена мнением...

И так — повторяю — годы и годы.

Еще одной живительной ипостасью Бориса Соломоновича (отчасти, мимо Публички также сблизившей нас) было его деятельное участие в работе Общества «Мемориал»\*. То были самые его первые шаги, открылись архивы, спецхраны библиотек, когда еще были живы люди, на себе испытавшие ГУЛАГ, ссылки и утраты близких. Одним из первенцев этого движения был историк и публицист, смелый и горячий поборник истины и правды — Феликс Федорович Перченков (светлая память). Он-то и привлек к этой новой щемящей и еще неоперившейся науке чуткого Бориса Соломоновича — уже автора целого ряда добротных и тщательно выверенных публикаций, статей и замет, посвященных людям науки, по жизни которых, так или иначе, прокатился каток сталинщины и бериевщины. И оказался прав Феликс на все сто. Забегая вперед, скажу, что с того времени Борис Соломонович стал постоянным автором почти всех изданий,

---

\* Некоммерческая организация, признанная в РФ выполняющей функции иностранного агента, ликвидирована по решению Верховного суда РФ 28 февраля 2022 г.

предпринятых «Мемориалом». От сборников издательства «Феникс»; «Минувшее», «Постскриптум» — до девяти томного альманаха «Диаспора». Много лет Борис Соломонович был соратником и другом Владимира Аллоя и его жены Татьяны Борисовны Притыкиной, главного титульного редактора и вдохновителя всех перечисленных выше изданий.

Так вот, как раз к тому времени (это начало 90-х годов прошлого века с воцарением гласности и нового мышления без кавычек) моя программа «Былое и думы» Фонда Культуры по сбору и сохранению устных воспоминаний горожан о поэтах и поэзии набрала силу и успех — я порешил, что называется, «сменить пластинку». Образно говоря, Даниила Хармса, Маршак, Ахматову, Мандельштама или Иду Наппельбаум заменить на «папашу» Иоффе и его питомцев, «школу» Ивана Петровича Павлова, братьев Н. и С. Вавиловых, всех — Орбели, короче — на академиков. И — просто на ученую братию. Благо их родственники, друзья, ученики и их «школята» на виду, а со многими я просто и вовсе был знаком лично по членству в Союзе ученых. Делюсь с Борисом Соломоновичем — с кого начать. В ответ он прямо с колес назвал имена А. П. Карпинского и С. Ф. Ольденбурга. Это на первый взгляд жизнь Президента Академии наук (орденоносца) и его «непременного секретаря» сложились благополучно. И именно в советское время. Так, да не так! Что и говорить: я с радостью принял предложение

Бориса Соломоновича, благо всё — от начала до конца — зависело только от меня, хватило бы сил. И началась подготовка, для меня дело привычное. Найти зал, нанять гардеробщика, радиста, составить афишу, напечатать в типографии и отдать в расклейку, разнести во все библиотеки, в университет, обеспечить прессу и дать загодя заметку в «Вечерку». Феликсу Федоровичу и Борису Соломоновичу было поручено отыскать родственников, близких и учеников обоих академиков. И самое главное — убедить их прийти и поделиться своими воспоминаниями на публике, что, из моей практики, совсем-совсем не просто.

А тут случилась заминка.

Борис Соломонович очень хотел, чтобы в нашем вечере приняла участие дальняя родственница С. Ф. Ольденбурга — профессор ИИЭМ Иоанна Дмитриевна Старынкевич-Хлопина, дама преклонного возраста. Дело в том, что не так давно Борису Соломоновичу стало известно от парижской дочери С. Ф. — писательницы Зои Сергеевны Ольденбург (Z. Oldenburg), что Иоанна Дмитриевна написала воспоминания о той эпохе под названием «Забвению не подлежит», чем особенно заинтриговала Б. С. как биографа Ольденбурга. И вот, дабы не показаться в глазах этой дамы слишком заинтересованным и совсем не спугнуть ее, щепетильный Борис Соломонович просил нас взять приглашение этой дамы на себя и доставить на вечер.

Итак, Большой зал на Университетской набережной. Публика в основном пожилая, почтенная, больше дамы. Многие давно не видели друг друга. Длинный стол президиума. За ним — славная пятёрка: постоянный ведущий программы «Былое и думы» профессор физики Никита Алексеевич Толстой (с правом курить и перебивать стоящего на трибуне оратора), Феликс Федорович Перченко, доктор наук, индолог Ярослав Васильевич Васильков, Борис Соломонович и сотрудник Архива Академии наук Юрий Абрамович Виноградов. Всё идет своим чередом. Впервые с довоенных времен за столько минувших десятилетий в Ленинграде собрались под одной крышей родные, друзья и ученые одного поколения поговорить не столько о Карпинском и Ольденбурге (и вокруг них), а на самом деле больше о пережитом, о времени, об эпохе, о ленинградской науке. И многое — оглашается впервые. Каждое выступление на вес золота. Я был счастлив.

Всего не перескажешь (есть — магнитная запись)... Борис же Соломонович в своем выступлении сделал упор на новые источники к биографии Ольденбурга за полвека. У нас и в зарубежье. С ним в качестве гостей были родственники по жене С. Ф. — Головачевы, дочь академика-китаиста Василия Михайловича Алексева, Марианна Васильевна Банковская и кто-то еще из Института востоковедения. Всё интересно, живо и внове. И вот Никита Алексеевич предлагает пройти

к трибуне профессора Иоанну Дмитриевну, сидевшую в зале, в первом ряду, с большим портфелем на коленях. На ней строгое серое платье, брошь, пенсне на дужках по Чехову. Самой лет под девяносто (уточнение пришло недавно — на тот год ей было 83 года)... Она извиняется за опоздание и просит Толстого разрешить ей выступить с места, тот хмыкнул. Борис же Соломонович совсем разволновался. Приподнялся, сдвинул очки на лоб, глянул на меня с вопросом, мол, как со своего места. И буквально выпрыгнул из президиума, подбежал к ней, поцеловал руку и присел рядом — отдышаться...

Потом они оба поднялись на сцену.

И всё пошло как по маслу: Ольденбург, ее отец Дмитрий Старынкевич, дед — правитель, первое лицо Варшавы, молодые друзья — гимназисты тамошней гимназии (Толстовской) Серёжа и Митя. Петербург. Университет. Волнения. Тюрьмы. Мировая война. Невесты. Жены. Дети... Революция. И всё по той рукописи...

Праздник Бориса Соломоновича.

Что и требуется доказать. Я был счастлив.

Примечателен был заключительный аккорд. Борис Соломонович несколько лукаво, блеснув очками и качнув головой, обратился к Иоанне Дмитриевне: я узнал от коллег из Пушкинского Дома, что вы в 26 году были с мужем в Геленджике и встречались с Максом Волошиным... Ответ был необычен. Маленькая, худенькая

«божий одуванчик» И. Д., поручив папку и палку Никите Толстому, вновь подошла к трибуне и прочитала большой кусок из поэмы Макса «Дом Поэта». Мы были счастливы. Всё это действие продолжалось более трех часов, уже пришли сторожа закрывать здание на ночь, пора было расходиться. Но люди, народ-то родствен- ный — говорят, говорят, говорят. Да и место (*genius loci*) в самый раз. Короче — положение аховое, могут в сле- дующий раз не дать Зал... Никита Алексеевич Толстой враз всё смекнул. В волнении встал, надел на плечи съехавший было пиджак, поправил неизменную бабоч- ку в горошек, поднял руку и в несвойственной для него манере, на полном серьезе сказал, обратившись к Бо- рису Соломоновичу (по записи, точь-в-точь): «Прошу тишины! Я скажу так: давайте все вместе поблагодарим Бориса Соломоновича Кагановича, по вине и по инициативе которого мы провели вместе столько времени и еще больше узнали друг друга. И — уже так просто не расстанемся. Вот говорят, что инициатива наказуема — так накажем же Бориса Соломоновича нашими апло- дисментами». Аплодировали все — даже и сторожа. Я был счастлив и рад за Бориса Соломоновича.

Редкий сам, незаурядный биограф и библиограф, Борис Соломонович был, конечно же и прежде всего — книжный червь (недаром библиотека была его вторым домом), но червь самых редких пород, которые точат только самые редкие породы деревьев, почти не оставляя следов, и этим — живучи.

Современным литературоведам, историкам литературы и критикам Боря Каганович предпочитал Тынянова, Эйхенбаума и Бухштаба; его настольной книгой была «Над арабскими рукописями» И. Ю. Крачковского; из всех изданий помимо своего толка он предпочитал «НЛО»; с огромным уважением и даже — пиететом Борис Соломонович почитал Анну Аркадьевну Изкоз-Долинину и Михаила Михайловича Стеблина-Каменского; не любил Достоевского, особенно его «Дневник писателя», но знал — назубок; Иосифа Бродского считал еврейским поэтом (кстати, так же считал и Виктор Соснора), Жаботинского и Бялика, наоборот, русскими, но никогда на этом не настаивал...

Вот Борис Соломонович медленно движется с целой кипой книг (едва удерживая их локтем и подбородком) в проходе сквозь читальный зал Русского Фонда, отыскивая свободный стол. Не место, а стол. Не для куража (Б. С. был человеком вполне общительным). Тут — другое: по зрению и по самому процессу чтения и выписок, которые он делал километрами (это — особь статья, если учесть, что Б. С. напрочь отказывался от компов, гаджетов и сканеров, доверяя только своему взгляду и руке, пишущей за ним). Стол. Лампа. Очки. И он с головой — прямо впритык щекой и носом, и оправой к книге — листает, делает закладки. И выдает на-гора большие куски текстов своим сине-чернильным внятными крупным почерком.



Такой поступью строк в одну линию, словно «легионеры почетного легиона на параде» (помнится, Борис Соломонович подхватил метафору и похвалил за находку), вырисовывая каждую букву, дабы избежать ошибок при переписывании для книги. И всяк из нас, коллега или просто зевака-читатель, это видит и понимает: человек на своем месте и работает на полную катушку. Невский. Публичка. Святылище! Огромные часы-соглядатай в императорском окладе стоят настороже. «Зорю бьют... из рук моих / Ветхий Данте выпадает, / На устах начатый стих / Недочитанный зatih — / Дух далече улетает. / Звук привычный, звук живой, / Сколь ты часто раздавался. / Там, где тихо развивался / Я давнишнюю порой» (Пушкин, 1829). Время и мы. Дом, фасад, Помните у зоркого Маркиза де Кюстина «Петербург — город фасадов» (закавычил, но точность не гарантирую, не в точности суть, а в главном).

Публичка.

Неотчуждаемая ценность. А всего-то два угла и бесконечно дорогое классическое полукружье, небесная линия от Садовой к Екатерининскому саду. К той решетке, и — дальше, дальше «бессмертья, может быть, залог». Прав Пушкин-кадушкин (вывинтил лампочку, кто?).

Прогулка, смотрите...

Вот я вижу, как Борис Соломонович медленно идет по Невскому в Публичку (или обратно — домой,

не суть). Идет вдоль ограды Каткиного Сада и дальше мимо Аничкова дворца к Мосту (его любимая сторона, да-да, мы и это обсуждали, всё волновало... нежный ум). Не идет — движется. Тяжеловато. Гнется немного к земле. Держит спину. На голове не помню что, но есть. Очки. Не от мира сего, уверен, что говорит сам с собой на ходу, размышляет. Ни холод, ни жара — средне, не в погоде дело; одно тут вечно — сырость, Петрово болото. Пальто не пальто. Большие карманы, может — нет, для рукавиц. Главное: обе руки за спиной, хлястик, пуговицы, но точно портфель (сумка — сума), туго набитый книгами и тетрадями и всякой разнотой, готовой вот-вот вылезть на свет божий. И вся эта поклажа держится на одном пальце, крепко так, раскачиваясь, в такт пешего хода. А на ходу — значит, жив курилка, жив Гуру Борис Каганович. Лехаим, Боря.

Можно было бы сейчас и закончить на этой ноте эту «одическую рать» памяти моего друга Вергилия среди книг и людей. Иной бы так и сделал. Да и мало ли кто точно так же ходит по Невскому, а то и по Литейной части или в Коломне, мало ли кто как носит (таскает) свой портфель; вот-вот упадет, не споткнется. И — то Хлеб!

Ан нет. Однажды я заметил Борису Соломоновичу, что вот точно такую же привычку носить тяжелый портфель с книгами и прочим на ремешке через плечо на ходу, держа его крепко двумя руками за

спиной, имеет и профессор Александр Иосифович Зайцев, Вашего с ним цеху — классик, говорю, одного поля. Я это видел и в нашем дворе на филфаке, и в большом университетском коридоре по дороге «горьковку», и еще...

Ответ Бориса Соломоновича был прост: у меня это упражнение для спины после сидячей работы, да от отца перенял, не знаю, а еще кто-то мне подсказал или я сам «допетрил», что помогает от инфаркта... А у Александра Иосифовича это осталось от з\ка... Так, говорят они, — экономит силы на этапе. Анциферов так ходил, шаг за шагом... И на миг — потемнел лицом. «А вы не знаете, что Александр Иосифович давал уроки античности Анне Ахматовой? Ходил в Фонтанный Дом. Правда, я знаю понаслышке от друзей этот факт биографии, а сам спросить — боюсь лезть в душу, ранить его...»

И мне пришлось признаться, что я знаю об этом. И давно.

И не понаслышке, а от Александра Иосифовича самого, из первых уст... Как-то мы встретились в том зальчике на выставке новых поступлений, и я заметил, что Александр Иосифович близоруко листает новый сборник Анны Андреевны. С ее портретом... Я подошел (он меня узнал) и вдруг спросил, знал ли он А. А.? Александр Иосифович глянул сквозь очки, мы присели тут же у столика и он рассказал...

Повезло, а вы это записали, записали...?

Такой упрек и наказ — записывать факты... Факты — хлеб биографа. И биографа — первой статьи. Откройте книги, статьи и публикации Бориса Соломоновича — это школа. Школа, название которой — биографика. А что еще должен оставить после себя настоящий ученый, что?

\* \* \*

Вместе с именем высокочтимого Г. Г. Суперфина — автор считает себя обязанным назвать имена первых читателей этого «Слова...», без помощи, равнодушия и поддержки которых оно бы не увидело света...

Это — Р. Д. Тименчик, К. М. Азадовский, С. И. Зенкевич, А. Б. Левкина, И. М. Мажуга, Д. К. Равинский, А. Б. Комов и Б. М. Хаимский.

*Санкт-Петербург.  
Февраль — начало марта 2021 г.  
Второй год пандемии*

## СЛОВО МАРИЭТТЕ

*Маше Чудаковой*

Последняя из могикан.

Воительница.

Начальник стаи.

Вожак!

За ней оставалось и первое и — последнее слово.

Как в шахматах «Белые начинают и — выигрывают».

Я ее знал...

Ее девиз: Я лучше вас знаю... Понимаете, лучше...

Булгакову повезло — кто лампочку вывернул, кто? Булгаков!!!

А кто свет дал, кто «поднял фонарь на длинной палке» — кто?

По Мандельштаму, кто — Она!

И ключик от архива, и замочек с секретом — в свой рундук...

И накося — выкуси. Правда или нет, но была молва, мол, что она (в РГАЛИ на «Речном вокзале») сама себе приносила рукописи из хранилищ и сама же, сложив манатки, уносила в закрома. Похоже

на правду. Приехала в Ленинград; я ее встречал, проводил на Канал к Томашевским — Зоя Борисовна приболела... Вечером Зоя звонит мне: Маритэте всё почти отдала, но как отказать, ведь знает про Папу больше меня... Так и с Ольгой Борисовной Эйхенбаум... А Зоценки... Пока мы тут, ленинградские цирлих-манирлих: у нас и не в голове; у нас Пушкин, Федор Михайлович, Анна Андреевна, нас «не замай»...

Это еще при Брежнев...

И всё правда!!! Маритэтта (и — нарицательно) — это авторитет и знаний и уверенность, что никто кроме... Так и есть, ведь открыта «до нитки», ведь никто за годы и годы ни камня не бросил — ни пылинки в ее глаза не нашел... Деспот, тиран в юбке, воробышек махонький, а топорщилась перьями, как большая птица. И ты невольно принимаешь ее сторону — не словом, так жестом как жажнет, закачаешься, не спустит — если не в ту степь, и за ушко прям в корзину вместе с чернильницей, а похвалит — запьешь от радости, и всех по миру — известит.

Меня со второго раза (если не с первого) называла Женей прямо в аудитории... «Нашего цеху» — ее слова. Это похвала и признание за скромную мою «Музидору» Марию Ливеровскую и за автограф А. А. Блока из «Дантовских чтений» (Игорь Федорович Белза меня к ней потащил «кто на новенького...», да так и оставил, к счастью).

А сколько я Мариэтте такого-эдакого на тарелочке из своих арлекинов натаскал, — а она в портфельчик, как должное; а я и рад (там был и Эйхенбаум, и Шкловский, и серапионы, и Осип с братом Евгением, и Некрасов). Но не жалко — всё в коня, что-то да и успелось...

Просто она вдруг ринулась в окиян-море политики — вне наших полей, не догнать никому...

Вот мое письмо Маше — ее дочери. К ночи после передачи Ганапольского\* на «Эхе» в минувшее воскресенье. Стронуло меня... Прочтите, выйдет минутка (и в тот же вечер — ответ благодарный и светлый).

Дорогая Мария Александровна!

Примите, насколько это возможно, и мои соболезнования в связи с уходом Вашей Мамы. Про таких ученых и светлых личностей, как Мариэтта Омаровна Чудакова, говорят «Светило».

Как Лотман. Гаспаров. Лихачев. Лидия Яковлевна Гинзбург. Эткинд. Баткин. Зализняк. Д. Е. Евгеньев-Максимов. Игорь Белза. А. П. Чудаков — Ваш Отец.

Я — Евгений Борисович Белодубровский из Ленинграда. Мне — 80. Я знал Мариэтту Омаровну — мы же одного Цеху. Ревнивого. Знал сначала

---

\* 5 апреля 2022 г. Минюст РФ внёс М. Ю. Ганапольского в список физических лиц — «иностранных агентов».

понаслышке. По публикациям. Потом уже лично, но опять же не коротко, но гордился...

Было дело, что я несколько раз провожал Мариэтту Омаровну до метро «Пушкинская» по ее приглашению — прямым ходом от Твербуля. Помню — был дождь, мы остановились в сквере, шел разговор об Эйхенбауме и Шкловском и об их — Льве Толстом. Мы увлеклись — я был на стороне Виктора Борисовича, что задело Вашу Маму. И неожиданно посреди разговора мы заметили, что стоим в луже и мокнем как суслики... И строгая Мариэтта вдруг — улыбнулась. Я был счастлив. Да и любой бы на моем месте... Через много лет мы встретились в Петербурге, и Мариэтта Омаровна напомнила мне эту «лужу»...

Я слушал лекции Мариэтты Омаровны в Литинституте студентом-заочником. Одну лекцию — 1986 год — «Стихи о неизвестном солдате» Осипа Мандельштама я запомнил на всю жизнь.

Свои не частые новогодние поздравления (в ответ на мои) Мариэтта Омаровна неизменно подписывала «Ваша училка» или «Ваш профессор»...

Лучшая книга Мариэтты Омаровны: скромная, на плохонькой бумаге в 180 страничек, набранная школьным шрифтом, в картонной обложке «Рукопись и книга» — книга для учителя (Москва: «Просвещение», 1986), которую я бережно храню в своей библиотеке. С двумя дарственными надписями автора 1986 и 2004 годов.



А ведь это, Мария Александровна, и вправду — замечательная книга, написанная Вашей Мамой легким, почти детским языком, — шедевр на нашем поле... Читать — не перечитать. Простой учебник, а светится и горит маяком — как «Завещание Мариэтты Чудаковой». Что и требовалось доказать. Светлая-пресветлая память...

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Дорогая Мариэтта Омаровна!

Недавно я прочитал в Интернете, что нижеприведенный текст заметки под названием «Омоложение» обнаружен неким лужским краеведом Носковым в лужской «Крестьянской газете» за январь 1924 года!

Он мне показался давно знакомым, и я, заглянув в свою старательскую картотеку, прочитал ссылочку, что этот текст (повторяющий лужский и под тем же заглавием «Омоложение») был опубликован чуть раньше в журнал-газетке «Экран Павловской жизни» в 1923 году осенью.

Вдруг пригодится вам! Даю текст и карточку-источник.

БЛАГОДАРНЫЙ ЖЕНЯ  
ВАШ ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ УЧЕНИК  
ПО ТВЕРСКОМУ БУЛЬВАРУ

ВС

П15 "Павловская жизнь" газ. Павлов При-

2

ложение.

Экран "Павловской жизни"

Павлов, Уездн. ком. РКП и Уисполком

1923-1924

[Прил. к газ. "Павловская жизнь"]

Перечень имеющихся в библиотеке

тomes, №№: Годов этого издания

скотри в каталоге периодических изданий.

## ОМОЛОЖЕНИЕ

### *Открытие Воронова и Штейнаха*

Австрийский профессор Штейнах и русский доктор Воронов являются создателями теории омоложения. Они открыли, что старение организма связано с ослаблением деятельности желез внутренней секреции. Явление старости можно уменьшить или устранить вовсе при восстановлении деятельности желез внутренней секреции либо при перевязке семенных канальцев, либо пересадкой свежих желез от одного животного к другому. При этом были достигнуты блестящие успехи, в частности, старый дряхлый жеребец, который почти не вставал на ноги, после операции по омоложению стал способен для верховой езды, вновь скачет галопом. Продолжателями дела Штейнаха и Воронова являются профессор Воскресенский и доктор Успенский, имеющие в Твери специальные учреждения. Они производят свои работы и над людьми. Ими за полтора года омоложено: 10 рабочих, 5 врачей, 2 священника, 1 торговец и больше 15 советских служащих. Большинство лиц, подвергнувшихся операции, чувствуют себя вполне хорошо, бодры и работоспособны. У некоторых из них исчезли морщины, начали расти волосы на месте прежней лысины. Таковы результаты прекрасно проведенных опытов по омоложению у нас в России.

Журнал-газета «Экран “Павловской жизни”».  
1923. № 3

## ХАРМС НА «КАМЧАТКЕ»

*Геннадью Мартынову  
и Алексею Владимировичу*

Раньше на входных дверях многих ленинградских парадных была такая узенькая синенькая табличка «Берегите тепло». Из той же «оперы» примета, из моей, из нашей с вами. Помнится, в бытность мою в 60–80-е годы штатным рабочим постановочного цеха на Ленинградском телевидении на Чапыге, я, подрабатывая заштатным автором-сценаристом для молодежной редакции трехминутными сюжетами о ленинградских поэтах (и адресах (домах), где эти поэты умирали, живали и выживали), снял, с разрешения Редакции, такой коротенький фильм о том доме, где жил поэт Даниил Хармс (тогда, в семидесятых, он как-то был вспомнят из небытия, вошел в моду, а для меня Хармс — выпускник нашей средней школы Петершуде 1916 года, взявший для псевдонима (Хармс) кличку злющего мопса «ненавистной» учительницы немецкого (ненавистной, ибо шла дурацкая мировая война), карлицы и хромоножки госпожи Хенриетты Хармсен-Гармсен, имеющей

привычку каждый вечер прогуливаться с визгливым Хармсом вдоль Волынского переулка, где она жила). И потом, спустя тридцать с лишним лет, в 1948 году, в первый класс той школы поступил и я, известный, как вы уже знаете из первой главы, среди мальчишек на Мойке прозвищем Пушкин (я был, повторяю, кудряв, черняв, губаст, вертляв и картав, да еще с фамилией почти Дубровский и именем почти Евгений), то есть я самый и есть. Больше того, на тот мой фильм откликнулся ленинградский художник Борис Иванович Смирнов. Область его живописи — редкая, художник по стеклу. Он учился в одном классе с Даней, который сидел на «камчатке» и строил рожи учителям, но как только «рожа» бывала замечена, он умел быстро менять ее на нечто серьезное и вдумчивое, а как — опять, неплохо рисовал, особенно ничем не отличался... Дом Хармса — улица Маяковского, 27. Отсюда из парадной он выскочил однажды на минутку и чуть ли не в домашних туфлях за трубочным табачком и еще за лимоном и за лапшой да за валерьянкой — в соседнюю лавку напротив (лавка на том месте и сейчас). И — не вернулся. Погиб в бериевых лапах, на Шпалерной. Весь сюжет — четыре с половиной минуты, вся «жизня» (кстати, чуть в сторону от фибрового чемодана моей Мамы, имею честь поделиться маленьким открытием, которое я сделал тогда, у дверей Дома Хармса: самая большая проблема русской литературы — как

уходят из жизни писатели — поэты — критики — читатели...). Так вот, самым последним кадром в той киношке о Хармсе во весь телеэкран горела потрескавшаяся голубая, на белой битой проржавленной по углам железистой глазури табличка «Берегите тепло». И это «звучало» как завет гениального поэта — нам. Ныне эта табличка с той двери на улице Маяковского исчезла — жалею... НО стихи Даниила Ивановича Хармса-Топорышкина живы. И от них — теплеет на душе, несмотря на всю их мороку, заумь, дурость, которую БОЛЬШЕ понимают только дети... Посмотрите, ну какому взрослому дяде понять такое (а малышам хоть бы хны):

*Шел Петров однажды в лес,  
Шел и шел и вдруг исчез.  
«Ну и ну, — сказал Бергсон, —  
Сон ли это? Нет, не сон»...*



*Юлия Александровна Бережнова (1916, Раменское, Саратовская губерния – 1999, Протвино, под Москвой) – преподаватель русской литературы и языка; в последние годы жизни профессора Бориса Михайловича Эйхенбаума Ю. А. стала его добровольной помощницей, вела его переписку, была преданным другом всей семьи ученого, постоянно сопровождавшая Б. М. в Филармонию и в концертные залы города, оберегала его от докучливых гостей и сохранила многолетнюю переписку с Учителем.*

Дорогому - и удивительному! -  
Звенио Бариллову (такое  
я писал тогда, в 50-70е гг.).  
Как жаль, что до сих пор книги Ваши  
не совсем известны раньше,  
и как мне хорошо, что все мои  
„записки“ не оказались тогда  
в Вашей распродажке -  
возможно, их судьба была бы  
иной.

Хорошо, хорошо, что я-то  
теперь уже никуда не  
попечу. Прощайте.

Благодаря

Ю. Березина.

8 августа 95 г.

Из всего вороха надписей на книгах, мне подаренных  
за мою творческую жизнь, или подписей на фотокарточках  
более всех я дорожу фотографией Юлии Александровны  
и ее молодым взглядом (мы же сдружились, когда ей было  
далеко за 70), а ее слова, ко мне лично обращенные,  
прямо в лобешник, придают мне сил в сомнениях -

зачем живу?



## Содержание

<i>Владимир Свиньин</i>	
«О ты! О ленинградский воробей!..» .....	5
Мы жили на Желябке .....	7
Следующая остановка «Банковский мост» .....	18
Джейн .....	25
Крылатая повесть-рассказ с колёс о дедушке Симхе <i>из Дубровников бывш. Витебской губернии</i> <i>в ответ на письмо правнука знаменитого сыровара</i> <i>из Бобринцов бывш. Винницкой губернии</i> <i>и к тому же носящего усы</i> .....	29
Лайк Гандельсмана .....	57

Ода к воробью .....	69
Владимир Набоков, Джойс, Пруст и Машенька (Из путешествия по Нью-Йорку) .....	98
Бескозырка .....	122
Опустел наш сад!!! <i>Слово к Борису Соломоновичу Кагановичу — с подмостков Публичной библиотеки</i> .....	129
Слово Мариэтте .....	154
Хармс на «камчатке» .....	161
Юлия Александровна Бережнова .....	164

*Литературно-художественное издание*

**Евгений Борисович Белодубровский**

# **МЫ ЖИЛИ НА ЖЕЛЯБКЕ**

**Опыты задушевной  
ленинградской прозы**

На обложке: Семейная фотография — бабушка Циля, дедушка Симха, Лина и Борис Белодубровские с двухлетним сыном Анатолием. Снято в день его рождения 14 февраля 1940 г. в фотоателье на Невском проспекте, 18; Братья — Анатолий и Евгений. Ленинград, 1947 г.  
Фото — В. К. Вайхта

На задней стороне обложки: Автор сквозь окно Книжной Лавки писателей на Невском проспекте, 66

---

Технический редактор *А. Б. Левкина*  
Художественное оформление *Е. О. Пучков*  
Корректор *Л. А. Брисовская*

Гарнитура Lora (designed by Cyreal).

Подписано в печать 07.04.2023. Формат 80×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Усл. печ. л. 8,4. Тираж 250 экз. Заказ № 067РС.

Отпечатано в типографии издательско-полиграфической фирмы «Ренومه», 192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40.  
Тел. (812) 766-05-66. E-mail: [book@renomespb.ru](mailto:book@renomespb.ru)

**[www.renomespb.ru](http://www.renomespb.ru)**

По вопросам реализации этой  
и других книг издательства «Ренومه»  
пишите на эл. адрес: [sales@renomespb.ru](mailto:sales@renomespb.ru)





Автор книги, родившийся в 1941 году в Ленинграде (в проходном дворе от улицы Желябова — сквозь Невский — до набережной Мойки и Зимней канавки), предлагает читателю как опыты ленинградской прозы избранник лоскутных мозаичных рассказов о своей интересной жизни. Окрестности тех мест, фасады, улицы, дворцы, сады, памятники, каналы — все это сформировало его как личность и толкнуло в профессию писателя-краеведа и библиографа. А их «задушевность» (слово, вынесенное нами на титул, по Анциферову) — это в первую очередь его родители, близкая родня, друзья, ученые-коллеги и Поэты: от Пушкина до Блока и Мандельштама, от Шолом-Алейхема и братьев Нобель до Владимира Набокова, плавающие и путешествующие вместе с ним там, где его застала творческая судьба, — как в Старом, так и в Новом Свете.

ISBN 978-5-00125-785-1



9 785001 257851 >

